



Михаил Загоскин

**Искуситель**

«Public Domain»

**Загоскин М. Н.**

Искуситель / М. Н. Загоскин — «Public Domain»,

© Загоскин М. Н.  
© Public Domain

# Содержание

Часть первая	5
I. СЕМЕЙСТВО БЕЛОЗЕРСКИХ	5
II. ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД	11
III. ЯРМАРКА	19
IV. ДОМАШНИЙ ТЕАТР ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА РУКАВИЦЫНА	28
V. ОТЪЕЗД	39
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# Михаил Николаевич Загоскин

## Искуситель

*C'est un tableau de fantaisie dont tous les détails sont peints d'après nature<sup>1</sup>.*

### Часть первая

#### I. СЕМЕЙСТВО БЕЛОЗЕРСКИХ

Сегодня день моего рождения; мне минуло шестьдесят лет; мои мягкие темно-русые волосы, которым некогда завидовали красные девушки, сделались жесткими и поседели; вместо тонких бровей дугою, нависали над моими глазами густые брови в палец шириною, ресниц как не бывало, а полные румяные щеки впали и пожелтели как осенний лист на деревьях. Говорят, будто бы глаза мои не совсем еще утратили свою прежнюю выразительность, а зубы (которых, впрочем, немного осталось) свою первобытную белизну. Может быть. Но я ношу очки и давно уже перестал лакомиться орехами, до которых в старину был страстный охотник, – все это очень грустно! Правда, когда я взгляну на мою Марию Ивановну, то мне становится не до себя... Господи боже мой! Подумаешь, как года-то меняют человека! Та ли это Машенька, свежая, как весенний цветок после утренней росы, прекрасная, как модель живописца, который хочет создать свою *Мадонну*? Ну, кто поверит, что эта пожилая барыня, которая в ситцевом капоте и в своем чепце-разлетае сидит за пальцами или вяжет для меня бумажный колпак, была некогда с гибким станом, с волнистыми светло-русскими волосами, что у нее был прелестный ротик и два ряда зубов, которые я не называю перлами потому только, что это сравнение сделалось слишком уж обыкновенным. Конечно, это никому не придет в голову, никому, кроме мужа, для которого милы ее морщины: она нажила их, проведя всю жизнь со мною. Почти тридцать лет постоянного счастья, тридцать лет сряду, как в первый день свадьбы, все те же совет и любовь, два сына и три дочери, из которых меньшая, как две капли воды, походит на мать свою. О! Эти прелести стоят, без сомнения, тех, от которых мы сходим с ума в наши молодые годы. Верная подруга в жизни, добрая жена никогда не состарится для своего мужа, и всякий раз, когда я подумаю, что этот злой дух, этот сатана, которого я сам вызвал из преисподней, мог навсегда разлучить меня с нею, то вся кровь застывает в моих жилах. Так, он точно был демон, но, разумеется, нашего века: не с хвостом и рогами, а одетый по последней моде, остроумный, насмешливый, точь-в-точь такой, какого навязал себе на шею чернокнижник Фауст<sup>2</sup>. Вы думаете, что я шучу или, может быть, величаю демоном какого-нибудь злодея? О, нет! Я говорю без всяких риторических фигур и называю злым духом не человека, а того, которого имя не выговорит ни одна набожная старушка, не перекрестясь и не примолвив: «Наше место свято!» Смейтесь надо мной, если хотите, но я в этом уверен и, быть может, уверю и вас, когда расскажу вам кой-что про первые годы моей молодости.

Мне не было еще трех месяцев, когда покойная матушка скончалась, отец мой скоро последовал за нею, и я на четвертом году остался круглым сиротой: даже близких родственников у меня не было. Исполняя последнюю волю умирающего отца моего, определили ко мне

---

<sup>2</sup> Фауст – герой немецких народных легенд, продавший душу дьяволу; символ человеческого стремления к всемогуществу знания. Прототипом легенд и знаменитого произведения Гете «Фауст» стал бродячий астролог и чернокнижник доктор Иоганнес Фауст (1480(?) – 1540(?)).

опекуном внучатного его брата, Ивана Степановича Белозерского. Сиротство мое прекратилось с той самой минуты, как я вступил в дом этого почтенного человека; но прежде, чем я стану говорить о самом себе, мне должно познакомить вас покороче с семейством Белозерских и с уединенной деревней, в которой я вырос, образовался и провел большую часть моей молодости, – теперь я далеко от нее; но, быть может, мне удастся еще раз взглянуть на это мирное убежище моего детства, и тогда – если господь будет до конца ко мне милостив – я весело засну, спокойным, но не вечным сном, без скорби и отчаяния, а с теплой верой, что минута пробуждения будет для меня и для всех моих минутой радости и неизъяснимого блаженства.

Иван Степанович Белозерский вступил в службу в достопамятный год Чесменской битвы<sup>3</sup> и знаменитой победы под Кагулом<sup>4</sup>. Он служил в гвардии. На двадцать девятом году влюбился в сестру своего начальника, милую, добрую и прекрасную девушку; на тридцать втором обвенчался с нею, через год она родила ему дочь; потом, в 1790 году, делал шведскую кампанию; дрался, как лев, в сражении под Абесферсом и за отличие произведен в капитаны. Вскоре затем вышел за ранами в отставку с чином бригадира и отправился с женою и дочерью на житье в свое наследственное поместье – но не для того, чтоб порскать за зайцами. Он занялся благосостоянием своих поселян, и хотя соседние дворяне называли его плохим экономом, потому что он думал о выгодах своих крестьян столько же, сколько о своих собственных, но, несмотря на это, доходы его с каждым годом умножались, мужички богатели, и, начиная от барского двора до последней избы, от помещика до крестьянина, везде благодарили господина, и все жили припеваючи. «Чудное дело, – толковали меж собой соседи, – этот Белозерский вовсе не радеет о своей пользе, а все так-то ему в руку идет!»

Прогуливаясь по селу с женой и дочерью, Иван Степанович встречал везде одни приветливые и веселые лица; ребятишки от них не прятались, не выглядывали украдкой из подворотней, а выбегали все на улицу, и часто какой-нибудь почти столетний старик кряхтел, а слезал с полатей, чтоб выйти за ворота и взглянуть на добрых господ своих. «Дай бог им много лет здравствовать! – говорили меж собой мужички. – Неча сказать, знатные господа! Бога помнят, крестьян своих жалуют» – «А наша барышня, – болтали старухи, – родная-то наша матушка. Марья Ивановна! Эка лебедь белая! Всем взяла! Тоненька только, сердечная! Да бог милостив, войдет в года – будет подороднее!»

Когда мне минул восемнадцатый год и я собирался уже в Москву. Ивану Степановичу было лет под шестьдесят. Он очень часто прихварывал, простреленная нога и разрубленное плечо мучили его перед каждой переменою погоды. Лицо его, с которого еще не совсем исчез румянец молодости, не имело в себе ничего особенного, ничего такого, что поражает нас с первого взгляда но когда он говорил, когда пожимал с ласкою вашу руку, когда глаза его оживлялись простодушием и добротою, то все черты этой спокойной и светлой физиономии навсегда врезывались в вашу память. Не много есть художников, которые умеют разливать жизнь и, так сказать, влагать душу в свои произведения, и вот почему из всех портретов Ивана Степановича не было ни одного сходного: все они изображали лицо простого человека с самой обыкновенной, незначащей физиономией, в этом *дюжинном* лице не было ничего ни противного, ни привлекательного; но это потому, что оно точно так же походило на свой подлинник, как походит неподвижный водопад в картине на падение Рейна или Ниагары. Вода, пена, брызги – все списано верно с природы; но где жизнь и движение бурной реки, которая ежеминутно, изменяя свой образ, стремится, летит и с грохотом исчезает среди кипящей пучины?

Хотя в то время жене Ивана Степановича было уже гораздо лет за сорок, но, взглянув на нее, нельзя было не подивиться, что у нее дочь невеста. Есть старая французская посло-

<sup>3</sup> Чесменская битва – морское сражение 25-26 июня 1770 г., в котором русский флот разгромил турецкую эскадру.

<sup>4</sup> ...победа под Кагулом... – 21 июля 1770 г. русская армия под командованием П. А. Румянцева нанесла на берегу реки Кагул сокрушительное поражение основным силам турецкой армии, участвовавшей в русско-турецкой войне 1768—1774 гг.

вица: *c'est la lame qui use le fourreau*<sup>5</sup>. И подлинно: злоба, отчаяние, порывы гнева, точно так же как безмерная любовь и вообще все необузданные страсти, истребляя здоровье, почти всегда бывают причиной нашей преждевременной старости. Мы обольщаемся красноречивым описанием всех сильных страстей: любовь, не доходящую до безумия, мы не хотим называть любовью, забывая о том, что всякое неистовое чувство унижает достоинство человека, и, какое бы название ни дали страсти, которая превращает вас или в дикого зверя, или в малодушное существо, не имеющее собственной воли, эта страсть всегда останется чувством противным богу и нашей совести, потому что она, затмевая рассудок, сближает нас с животными и, так сказать, *оземляет* наше небесное начало. Кроткая душа Авдотьи Михайловны – так звали жену Белозерского – не знала ненависти, а теплая вера укрощала чрезмерную чувствительность, к которой она была способна. Когда господь посещал ее горестью, она молилась, и скорбь ее никогда не переходила в отчаяние; ощущая необычайную радость, она спешила благодарить бога, и сердце ее облегчалось. Конечно, и она была не всегда одинаково весела и довольна; но ее никогда не покидали этот душевный мир и спокойствие, столь же мало похожие на холодный эгоизм, сколь мало походит стоячая вода грязного пруда на светлые струи ручья, который хотя и не вырывает с корнем деревья, как живописный гордый поток, но зато тихо и стройно течет в берегах своих, разливая вокруг себя жизнь и прохладу.

Я сказал уже слова два об их дочери. Представьте себе... или нет!.. дайте полную волю вашему воображению, и будьте уверены, что оно не создаст ничего лучше и милевиднее Машеньки Белозерской, когда ей минуло шестнадцать лет. Чтоб окончить описание этого семейства, мне должно упомянуть еще об одном слуге, или, лучше сказать, *домочадце* Ивана Степановича. Я не мог приискать ничего приличнее и вернее этого старинного русского названия, чтоб определить одним словом, к какому разряду домашних принадлежал дядька мой Кондратий Бобылев, некогда заслуженный гвардейский сержант, а потом дворецкий и приказчик в доме бывшего своего капитана. Бобылев был роста высокого, худошав, и, несмотря на то что доживал шестой десяток и предугадывал не хуже Ивана Степановича всякую ненастную погоду, он мог бы еще лихо выбежать перед фронт за флигельмана и вскинуть кверху тяжелое солдатское ружье, как перышко. Перед своим бывшим командиром он всегда держал себя навтыжку и не мог смотреть без досады на ровесников своих, старосту Парфена и бурмистра Никитича, когда они шли, сгорбившись, по улице или стояли, опираясь на свои *подошки*<sup>6</sup>. «И, что вы за народ такой! – говаривал он всегда, закручивая свои огромные седые усы. – Кряхтят да гнутся, словно старики! Да что наши за года? Ведь мы еще в самой поре и силе. Эх, поломал бы вам бока да выправил по-нашенски, так небось стали бы держать себя в стреле!» Бобылев, так же как и бывший капитан его, носил по будням военный сюртук, а по праздникам наряжался в полный мундир и, сверх того, по старой привычке, пудрил свои седые волосы пшеничною мукою и подфабривал усы. Его любили все: взрослые – за простодушие, доброту и приветливый нрав, а дети – за его рассказы о войне с турком, о походах под шведа, о храбром и удалом фельдмаршале Румянцеве<sup>7</sup>, о батюшке-графе Суворове, о том, как басурманы пьют зелье, от которого как шальные лезут на штыки православного войска, и о разных других некрещеных народах, которые пугают своих детей, вместо буки, русским солдатом.

Я должен также упомянуть об иностранцах, которые жили в доме Белозерских; их было двое: нянюшка-немка и учитель-француз. Немку называли Луизой Карловной, а француз – мусье Месмежан, то есть он назывался некогда Monsieur Jean, но впоследствии эти два слова слились в одно: его стали величать Иваном Антоновичем Месмежаном, – и под конец он так

<sup>5</sup> кипучая деятельность иссушает человека (фр.).

<sup>6</sup> Подошки – батожки.

<sup>7</sup> ...удалом фельдмаршале Румянцеве... – Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725—1796) – русский полководец, генерал-фельдмаршал (1770).

привык к этому прозвищу, что, верно бы, не откликнулся, если б кто-нибудь назвал его по имени.

Хотя деревня, в которой жили Белозерские, не далее двадцати пяти верст от губернского города, но я до шестнадцатилетнего возраста знал его по одной наслышке; сам Иван Степанович бывал в нем очень редко и только по самой крайней надобности. Господский дом со всей усадьбою был расположен в близком расстоянии от большой дороги; с трех сторон окружали его дубовые рощи. Я населил бы их соловьями, если б писал роман, но истина прикрас не требует. С наступлением весны налетало в них бесчисленное множество грачей, которых громкий и непрерывный крик так сроднился с первыми и приятнейшими впечатлениями моей молодости, что и теперь дубовая роща без грачей кажется для меня пустынею и возбуждает точно такое же грустное чувство, как безлюдный город или давно покинутый дом, в котором не заметно никаких признаков жизни.

Когда приближались к деревне по большой дороге со стороны города, то сначала видны были одни рощи, потом как будто бы всплывала красная кровля господского дома, а там подымались крыши флигелей и служб, и вся усадьба открывалась только тогда, как подъезжали к самым воротам обширного двора, обнесенного частоколом, – но с противоположной стороны господский дом виден был версты за две. По всему было заметно, что отец Ивана Степановича, который построил эти барские хоромы, не охотник был до хороших видов. Он поставил их на полугоре таким невыгодным образом, что из окон главного фасада, обращенного к городской стороне, видны были одни только рощи и часть поля, которое, подымаясь все выше и выше, заслоняло от глаз все отдаленные предметы. Иван Степанович, чтоб вознаградить чем-нибудь этот недостаток, развел перед домом цветник, в который сходили по низкой лестнице прямо из гостиной, и поместил свой кабинет и небольшую столовую в противоположной стороне дома, между лакейской и девичьей. Из этих комнат вид был прекрасный: остальная часть горы опускалась пологим скатом до самого пруда, который некогда казался мне огромным озером, хотя вокруг едва ли было и двести сажен. По сторонам обширного луга, отделявшего пруд от барского двора, разбросаны были житницы, каретный сарай, избы дворовых людей, их клетки, а посреди стояла крытая соломою небольшая лачужка с высоким шестом, на котором вертелся флюгер, – это было сборное место ночных караульных. С левой стороны, в шагах десяти от двора, начинался большой плодовый сад, в котором были, однако же, дорожки, обсаженные липами, он примыкал к одной из дубовых рощ. Прямо перед задним фасадом дома, по ту сторону пруда, подымалась амфитеатром густая дубрава; справа, по берегу оврага, который начинался за плотиною, тянулось огромное гумно; за ним виднелись холмистые и открытые места, перерезанные довольно высоким валом; он отделял Тужилровку – так называлась деревня Белозерского – от большого экономического села; этот вал, идущий верст на двести, служил некогда оплотом и обороною от татарских погромов, или, по крайней мере, затруднял внезапные набеги этих разбойников. За валом, у самого въезда в экономическое селение, возвышалась деревянная церковь с небольшою колокольней, и за ней сливались с отдаленными небесами необозримые поля, на которых осенью, как золотое море, волновалась почти сплошная нива, кой-где пересекаемая проселочными дорогами. Я жил в антресолях над самым кабинетом Ивана Степановича, и вид из моей комнаты был еще обширнее. Очень странно, что в те годы, когда мы еще не имеем никакого понятия об изящном, прекрасный вид возбуждал во мне всегда неизъяснимое чувство удовольствия. Бывало, я по целым часам не отходил от окна и не мог налюбоваться обширными полями, которые то расстилались гладкими зелеными коврами, то холмились и пестрели в причудливом разливе света ее теней. Сколько раз в детской голове моей рождалась мысль уйти потихоньку из дома и во что бы ни стало довраться до того места, где небеса сходятся с землею, чтоб заглянуть поближе на красное солнышко, когда оно прячется за темным лесом. Более всего возбуждал мое любопытство и тревожил меня этот бесконечный темный лес; он виден был из моей комнаты, вдали за дубравою, которая росла

по ту сторону пруда. Чего не приходило мне иногда в голову! «Уж верно, – думал я, – за этим лесом Должны быть большие диковинки? И что за люди там живут? Там и солнышко ночует – куда должно быть им весело!» Однажды – мне было тогда не более пяти лет – я решился завести об этом разговор с Бобылевым.

– Что это за длинный лес? – сказал я. – А что, Кондратии, чай, ему конца нет?

– Как не быть, сударь.

– А где же ему конец?

– Да верст пять или шесть отсюда.

– А что за этим лесом?

– Выглядовка.

– Что это, Кондратий? Город, что ли, какой?

– И, нет, сударь! Так, небольшая деревнишка, гораздо менее нашей Тужиловки.

– И люди там такие же?

– Такие же, батюшка.

Это меня немного успокоило, однако ж я не покинул намерения побывать когда-нибудь за лесом и посмотреть вблизи, как солнышко ложится спать.

Мы так привыкли, я – называть Машеньку сестрою, а она меня братом, что даже и тогда, когда подросли, нам ни разу не приходило в голову, что дети внучатых братьев почти вовсе не родня меж собою. Мы были неразлучны, и учились и играли вместе, поверяли друг другу свои детские тайны, я рассказывал ей все подробности своего путешествия за *дремучий* лес вместе с Бобылевым, который согласился наконец меня потешить и ходил со мною до самой Выглядовки. Машенька бледнела от страха, когда я описывал ей, как мы переправлялись через топкое болото, как зашли в такую дичь, что и света божьего не видно; как мимо нас пробежал огромный волк, и хотя, – прибавлял я с важным видом, – Бобылев уверяет, что это дворная собака, а не волк, но я точно видел, как глаза у него светились и как он щелкал зубами, а если мы остались целы, так это потому, что нас было двое. Машенька также в свою очередь призналась мне, что хочет непременно сходить когда-нибудь ночью в ближнюю рощу, которая была в двух шагах от дома, и посмотреть, как теплится огонек в старой часовне. Надобно вам сказать, что в этой роще похоронен был приказчик Ивана Степановича, который погиб насильственной смертью во время Пугачева; а так как он был человек очень добрый и набожный, то все почитали его невинно пострадавшим мучеником и уверяли, что будто бы в поставленной над его могилою часовне теплится по ночам огонек. Это поверье, подкрепляемое божбою очевидцев, получило наконец всю достоверность несомненной были не только для жителей Тужиловки, но даже и для всего соседнего экономического села.

Разумеется, смелое предприятие Машеньки мне очень понравилось, я предложил ей разделить со мною все опасности этого ночного подвига. Вот однажды, после ужина, мы вышли погулять по двору, начали гоняться друг за другом и, выждав минуту, в которую немка Луиза Карловна позаболталась с моим учителем, мосье Месмежаном, выбежали в растворенную калитку; держа друг друга за руку, мы пробежали шагов пятьдесят не оглядываясь. Сначала нам можно было без труда различать тропинку, которая вела мимо часовни: ночь была лунная и деревья росли весьма просторно по опушке рощи, но чем далее мы заходили, тем становилось темнее; мы пошли шагом. Вот я почувствовал, что рука Машеньки начинает дрожать в моей руке, она стала останавливаться и наконец сказала прерывающимся голосом:

– Братец, я боюсь!

– Чего же ты боишься? ведь я с тобою, – прошептал я, стараясь казаться равнодушным, несмотря на то что и меня давно уже мороз подирал по коже.

Вдруг – и теперь не могу вспомнить без ужаса – в десяти шагах от нас раздался такой отвратительный и нелепый крик, что Машенька присела от страха, да и у меня ноги подкоси-

лись. Этот крик, похожий на безумный хохот, разлился по всей роще, и в то же время что-то серое мелькнуло из-за куста, кровь застыла в моих жилах, а Машенька совсем обеспамятела.

– Не бойтесь, матушка Луиза Карловна, – раздался позади нас голос Бобылева. – Это заяц: они всегда так перекликаются весной.

– Здесь, здесь! – вскричала немка, увидев нас под деревом.

Мой учитель протянул уже руку, чтобы схватить меня за ухо, но положение, в котором мы находились, перепугало и строгих наших наставников: нас подняли, отвели домой, уложили спать и на другой день, дав препорядочную нотацию, оставили без обеда.

«К чему эти ничтожные подробности?» – скажут, может быть, мои читатели. О! Если б вы знали, как эти мелочи для меня драгоценны! С каким наслаждением, описывая первые впечатления детских лет, я переношусь мыслью в этот *золотой век* моей жизни! Не мешайте мне помолодеть хотя на несколько минут и не гневайтесь на меня, добрые мои читатели! Еще несколько страниц, посвященных воспоминанию, и я поведу вас вместе со мною в этот премудрый свет, в котором знают, что солнце не ложится спать, что оно почти в полтора миллиона раз более земли, а не знают того, что из всех людей, им освещаемых, одни только дети или те, которые *походят* на детей, могут называться счастливыми. «Следовательно, глупцы счастливее умных? – спросит какой-нибудь обросший бородою *европеец*. – Следовательно, невежество мы должны предпочитать просвещению?» Чтобы отвечать на этот вопрос, надобно прежде знать, каких людей эти господа называют глупцами и что величают просвещением и невежеством? Слова меняют часто свое значение. Было время (но, благодаря бога, не у нас), что кровожадный фанатизм именовали верою, а исполнение кротких евангельских добродетелей – равнодушием к вере и вольнодумством. Давно ли французы называли прихотливую волю нескольких палачей – законом; право осуждать без суда – свободою и каждое христианское чувство – фанатизмом? Давно ли?... Но об этом поговорим после.

## II. ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД

Я уже сказал, что мы оба с Машенькой вовсе не думали о нашем дальнем родстве, следовательно, и мысль, что она может быть со временем моей женою, не приходила мне никогда в голову. Однажды нянюшка ее, выговаривая ей за какую-то резвость, сказал: «Не стыдно ли вам, сударыня, вы уже невеста!» «Невеста! – повторил я про себя. – Невеста! Да неужели Машенька выйдет когда-нибудь замуж, будет любить другого больше, чем меня? О, нет, это невозможно!» Спустя месяца два после этого, нам случилось быть на свадьбе у одного деревенского соседа, бедного помещика, который выдавал сестру свою за нашего уездного заседателя. Я не мог без досады смотреть на веселый вид брата, который не скрывал своей радости. «Ах, какой злодей! – думал я. – Сестра его выходит замуж, а он еще радуется!» Когда в церкви, при начале венчания, жених взял из рук брата свою невесту, сердце у меня замерло, и я невольно схватил Машеньку так крепко за руку, что она чуть было не закричала. «Ах, сестрица! – шепнул я ей на ухо, – что, если когда-нибудь... Да нет! Тебя-то уж у меня никто не отымет!» Все это нимало не удивляло Машеньку: ей казалось только, что я люблю ее гораздо больше, чем другие братья любят своих сестер. Я и сам не сомневался в этом до тех пор, пока один случай не открыл мне глаз и не развил вполне чувства, которое таилось в душе моей. Вот как это было.

Накануне праздника Петра и Павла, в тот самый день, как мне минуло шестнадцать лет, вошел ко мне поутру Кондратий Бобылев.

– Честь имею поздравить со днем вашего рождения, – сказал он. – Извольте-ка вставать да одеваться, пора к обедне.

Я вскочил с постели.

– Мусью француз захворал, – продолжал Бобылев, – так мне приказано быть при вас. После обедни господа едут в город.

– Так мы с Машенькой останемся одни?

– Никак нет, сударь! Их высокородия берут вас и барышню вместе с собою.

– Как? Мы поедем в город?

– Точно так-с, в город, на ярмарку.

– Возможно ли?.. Мы будем на ярмарке!

– Как тут, сударь, поспеем к самому развалу. Извольте же одеваться! Вон уж трезвонить начали.

Я почти обезумел от радости. «Увидеть город! Быть на ярмарке! Господи боже мой!..» Второпях я раскидал все мое платье, надел наизнанку жилет, повязал на шею вместо галстука носовой платок, наконец при помощи Бобылева кое-как оделся и отправился к обедне. Надобно сказать правду, на этот раз молитва моя была самая грешная, потому что я беспрестанно думал о городе и с нетерпением дожидался конца службы. «Ну, если уедут без меня?» – думал я, стоя как на огне и поглядывая беспрестанно на двери. Когда, отслушав обедню, я воротился домой, завтрак был уже готов и шестиместная линия, заложённая в восемь лошадей, стояла у крыльца.

Мы отправились. Я сидел подле Машеньки. Как она была хороша в своем белом платьице, с распущенными по плечам волнистыми кудрями! Как блистали удовольствием ее любопытные взоры, как всякий неожиданный предмет возбуждал ее простодушную детскую радость! Сначала мы оба были в восторге: перед нами раскрывался новый, неизвестный для нас мир. Вот мы проехали мимо этого глубокого оврага, на дне которого в тени густых деревьев скрывалось несколько крестьянских изб. Предание гласило, что тут был некогда разбойничий притон. В самом деле, странное положение этой деревушки, существование которой и подозревать было невозможно, несмотря на то что она была близехонько от большой дороги, оправдывало это народное поверье. Мы спустились в лощину и оставили позади себя деревянный крест, врытый

в самом том месте, где лет двадцать тому назад убило громом тужиловского старосту. Это был крайний предел наших летних прогулок. Разумеется, внимание наше удвоилось, и, несмотря на единообразный вид полей, нам казалось, что все то, что мы видим, несравненно лучше того, к чему пригляделись мы с нашего детства. Вот забелелась вдаль частая березовая роща.

– Посмотри, посмотри, братец! – сказала Машенька. – Ах, как хорошо! точно белый дождь!

Около двух часов любопытство наше поддерживалось, но под конец нам стало скучно: одни поля сменялись другими, за одним холмом подымался другой, все те же рощи, перелески, лощины, и только изредка кое-где, вдаль от большой дороги, проглядывали, окруженные огородами, деревни.

– Скоро ли мы приедем? – спросила Машенька, зевая. – Что это, маменька, как город-то далеко от нас; едешь, едешь, а все конца нет!

Авдотья Михайловна улыбнулась и молча указала вперед.

– Что это, что это? – закричала Машенька. – Посмотри-ка, братец, звездочка!

Это блистала в лучах полуденного солнца глава соборной церкви нашего губернского города.

Подъехав к крутому спуску, мы вышли все из линий и прошли несколько времени пешком. Когда мы взобрались на противоположный скат, то высокий холм, усыпанный домами, посреди которых подымались кое-где выкрашенные кровли каменных палат, представился нашим взорам.

– Так это-то город? – закричала Машенька, – Как он велик! Сколько в нем домов!.. И в них во всех живут?.. Ах, боже мой!

Я сам обезумел от удивления, смотря на длинную, обставленную высокими домами улицу, которая шла в гору и оканчивалась на вершине холма площадью.

– Фу, батюшки! – шепнул я вполголоса. – Какая громада домов!.. Какие огромные палаты!

– И, сударь! – сказал Бобылев, который шел позади меня. – Да что это за город – так, городишка! Такие ли бывают города. Да и то сказать: один побольше, другой поменьше, а все они на одну стать – налево дома, направо дома, а посерединке улица – вот и все тут.

Восторг мой очень уменьшился, когда мы въехали в город. Начиная от самой заставы тянулись два ряда лачужек, одна другой безобразнее.

– Что это? – вскричал я невольным образом. – Да неужели это город?

– Город, душенька! – сказала Авдотья Михайловна. – Эта улица называется Мещанской слободой.

– Город! – повторила Машенька. – Да у нашего старосты Парфена новая изба гораздо лучше этих домов. Ну уж город!

– А вот погодите, милые, выедем на нижний базар, так дома пойдут красивее.

Через несколько минут мы доехали до конца слободы, и перед нами разостлалась огромная базарная площадь, или, лучше сказать, обширный луг, застроенный со всех сторон деревянными домиками, довольно ветхими, но которые имели уже городскую физиономию и, если не величиною, то, по крайней мере, своей наружной формой, отличались от деревенских изб. Почти треть этой площади была покрыта табунами малорослых и некрасивых собою лошадей, посреди них рыскало человек тридцать всадников в безобразных ушастых шапках. Эти наездники махали своими толстыми ногайками, скакали взад и вперед и перекликивались меж собой на каком-то странном языке. Один из них, с отвратительной широкой рожею, погнался при нас за лошадью, которая отделилась от табуна, накинул на шею веревку и, несмотря на то что она становилась на дыбы, била задом и металась во все стороны, через минуту протащил ее мимо нас.

– Ай да молодец! – сказал Иван Степанович. – Лихо сарканил.

– Что это за люди такие? – спросила Машенька. – Ах, папенька! Какие они страшные!

– Это калмыки, душенька! Они всегда пригоняют к нам на ярмарку целые косяки лошадей. Их что-то очень много – ну, видно, этот раз степные лошади нипочем будут.

Подвигаясь медленно вперед, мы поравнялись с другой частью площади, установленной телегами: сотни возов, нагруженных дугами, циновками, лаптями, деревянной посудой и всякими другими сельскими изделиями, стояли в самом живописном беспорядке. Тут простой народ кишел как в муравейнике: невнятный говор, гам и радостные восклицания сливались с громкими возгласами продавцов и покупателей, которые с ужасным криком торговались меж собою: то били по рукам, то спорили, покупщики *корили* товар, продавцы отвечали им бранью. В одном месте, собравшись в кружок, пировали и веселились крестьяне, сбывшие выгодно свой товар; в другом – посадские разряженные девушки лакомились орехами, покупали пряники и пели песни; тут оборванный мальчишка дул изо всей силы в хвост глиняной уточке и налаживал плясовую; там мещанский сынок испытывал свое искусство на варгане<sup>8</sup>; в другом углу четверо видных детин играли на дудках, а пятый, закрыв левою рукою ухо и потряхивая своей кудрявой головою, заливался в удалой песне. Вся атмосфера была напитана испарениями свежего сена, полевых цветов, огородных душистых трав и овощей, все было кругом жизнь, движение и праздник.

– Ах, как здесь весело! – закричали мы в один голос с Машенькой. – Так это-то ярмарка?

– Да, милые! – сказала Авдотья Михайловна. – А вон видите – там, где стоит много экипажей, – это ряды.

Через несколько минут мы проехали мимо обширного лубочного здания, или, лучше сказать, нескольких огромных балаганов, выстроенных под одну кровлю. Кто видел московские большие ряды, которые называются *городом*, тот может иметь некоторое понятие об этом временном гостином дворе. Он также состоял из крытых улиц и переулков, так же разделялся по качеству продаваемых товаров на ряды суконный, москательный, папский и суровский; точно так же толпился народ по этим крытым улицам, в которых дома заменялись лавками, точно так же вокруг этих рядов не было проезда от тесноты и множества экипажей. Разница состояла только в одной величине и в том, что в Москве ряды не лубочные, а каменные, что свет проникает в них посредством стеклянных сводов, а не сквозь натянутую парусину, и что вместо щегольских столичных карет и колясок, которыми бывает уставлена всякий день Ильинка и Никольская, – кругом лубочных рядов стояли по большей части такие экипажи, каких не встретишь даже и в Москве на гулянье в Марьиной роще, экипажи домашней работы, крепкие, *вальяжные*, долговечные и переходящие по прямой наследственной линии от отца к сыну, вместе с дворянской грамотою и родовым именем.

Миновав ряды, на которые я не успел порядком насмотреться, мы повернули направо в гору, и тут явился перед нами губернский город в полном величии своем и блеске. Мы ехали по Московской улице. Боже мой, что за дома! Каменные, раскрашенные разными красками, с лавками, балконами, с итальянскими окнами, в два и даже три этажа! Что шаг, то новое удивление: вот зеленый дом с красной кровлей и огромными белыми столбами; вот розовые палаты с палевыми обводами около окон; вот дом совершенно пестрый, на воротах голубые львы с золотою гривой – какое великолепие!! Я молча удивлялся, а Машенька осыпала вопросами Авдотью Михайловну.

– Верно, это губернаторский дом? – спросила она, смотря на зеленые палаты с красною кровлею.

– Нет, душенька! Это дом купца Вертлюгина.

– А этот? – продолжала Машенька, указывая на голубых львов с золотыми гривами.

---

<sup>8</sup> Варган – простонародный музыкальный инструмент, представляющий собой согнутую в виде лиры железную полосу с вставным посредине стальным язычком.

- Купца Лоскутникова.
- А вот этот, который всех выше?
- Купца Грошевникова.

– Купеческие – все купеческие! – вскричал я с удивлением. – Боже мой! Какие же должны быть дома у дворян?

- Деревянные, мой друг! – отвечал с улыбкою Иван Степанович.
- Странно! – подумал я. – Здесь все не так, как у нас в Тужилровке.

Мы въехали наконец на главную городскую площадь. Я не верил глазам своим, смотря на присутственные места, запачканные, с обитой штукатуркой, с выбитыми стеклами и с почерневшей от времени деревянной крышей; но более всего сразил и зарезал меня губернаторский дом. Я воображал его мраморным с золоченою кровлей и, по крайней мере, в пять или шесть этажей, а он был только в два этажа и выкрашен просто – желтой краской! Нет! этого уже я никак не ожидал.

Надобно вам сказать, что преувеличенные понятия мои о звании гражданского губернатора основывались не на одних предположениях; мой опекун был из числа людей, которые строго держатся правила: чин чина да почитает. Он всегда упоминал с особенным уважением о тех, коим русский царь вверяет управление целой губернии и, следовательно, благосостояние нескольких сот тысяч человек. «Начальник губернии – великое дело! – говаривал часто Иван Степанович. – Он глаз царя и представитель его власти». Однажды, – я был тогда еще ребенком, – губернатор, не знаю по какому случаю, обедал в деревне у моего опекуна; это посещение, о котором много было толков и разговоров во всем нашем уезде, никогда не выйдет из моей памяти. Как теперь гляжу на эту суматоху, на эти приготовления и хлопоты, которые начались в нашем доме с раннего утра. Я был не очень здоров и сидел один в своей комнате на антресолях. За воротами, в мундире и при шпаге, стоял уездный заседатель, плешивый старичок, которого я очень любил за его ласковый и веселый нрав; но на этот раз он показался мне совсем другим человеком: он был и суетлив, и очень важен, держал себя навтыжку, поминутно поправлял мундир, снимал шляпу и вытирал платком свою лысину; впрочем, заметно было, что он храбрился так для виду, а в самом-то деле робел не шутя. Подле него толпились старики и выборные экономического селения. Эти седые грешники все были в трезвом виде и стояли с поникнутыми головами, как преступники: видно, гром грянул, так пришло перекреститься. Они слышали не раз, что губернатор

Правдив, как Страшный суд!

а целый свет знал, то есть все экономическое село и наша Тужилровка, что эти старые греховодники опивали порядком бедных крестьян и не давали никому суда и расправы иначе, как в кабаке за ведром вина, за которое, разумеется, не они платили деньги целовальнику. Вот, этак около полудня, зазвенел вдали колокольчик, через минуту забрызганный грязью капитан– исправник примчался на тройке обывательских к нашему крыльцу. Выборные отвесили ему вдогонку по низкому поклону, а заседатель кинулся, чтобы помочь своему начальнику выпрыгнуть из телеги, но не поспел: исправник, вылезая, зацепил второпях за колесо ногою, грянулся оземь и, лежа еще на боку, прокричал: «Его превосходительство изволит ехать!» Все пришло в движение: слуги бросились толпою к воротам, опекун мой вышел на крыльцо, и вся наша дворня, женщины, девки и даже малые ребяташки, – высыпали из застольной и людских, чтоб взглянуть, хотя мельком, на губернатора. Вот показалась его карета; помнится, позади ее стояли гусары, а впереди скакали двое казаков. Когда губернаторский экипаж приблизился к воротам, плешивый заседатель до того вытянулся, что вдруг стал целой головой выше обыкновенного; старики и выборные преклонили свои грешные головы ниже пояса, а самый-то главный из них, беззаконник и пьяница, сотник Вавила, *пал* на колени и прослезился от умиления.

Капитан-исправник отворил дверцы кареты, я высунулся до половины из моего окна, но никак не мог рассмотреть хорошенько губернатора, а заметил только, что у него преогромный нос. Этот торжественный прием, подобострастие и почет, который оказывали губернатору, любопытство, с которым все желали его видеть, а более всего необычайный страх и трепет заседателя и выборных сильно подействовали на мое детское воображение; мне казалось, что начальник губернии должен быть существом совершенно особенного рода, и хотя я не мог в уме своем облекать всех знаменитых людей в образ нашего губернатора, потому что рассмотрел только его нос, но зато во мне укоренилась и долго не могла истребиться мысль, что каждый сановник должен быть непременно с большим носом.

Объяснив читателям причину моего удивления при виде двухэтажного губернаторского дома, я возвращаюсь снова к начатому рассказу.

Выехав на городскую площадь, мы тотчас повернули направо, и наша линия остановилась у крыльца большого деревянного дома, выкрашенного серой краской. Тут жил приятель Ивана Степановича, наш губернский предводитель, Алексей Андреевич Двинский. Мой опекун всегда у него останавливался, когда приезжал в город. Этот Двинский стоит того, чтоб я сказал о нем несколько слов. Он был видный собою и бодрый старик лет шестидесяти; человек справедливый, исполненный чести и готовый всегда и во всяком случае стать грудью за последнего дворянина своей губернии. Отличительной чертою его характера было необычайное добродушие, с некоторой примесью спеси, или, лучше сказать, чванства родового дворянина, у которого две тысячи душ крестьян, псовая охота, хор певчих и огромная роговая музыка, но эта слабость была в нем извинительна, он с таким простосердечием хвастался своим древним родом и богатыми поместьями, что, право, грешно бы было не только на него досадовать, но даже посмеяться, над его невинным чванством. Во всем городе один только Григорий Иванович Рукавицына, самый богатый помещик нашей губернии, не любил Двинского, – вероятно, потому, что видел в нем своего единственного соперника по богатству и открытому образу жизни. Этот Григорий Иванович Рукавицын не щадил ничего, чтобы уронить Двинского в общем мнении: давал чаще его обеды, вечера и наконец завел даже домашний театр, на котором играли – вы, верно, думаете: «Недоросль» или «Бобыля?»<sup>9</sup> Извините! «Дианино древо»<sup>10</sup> и «Редкую вещь». К нему ездил весь город, все дивились его Илюшке, который пел фистулою, и отдавали полную справедливость Дуняше, которая заливалась соловьем в бравурных ариях, но, несмотря на то, когда наступали дворянские выборы, Рукавицыну наклали черных шаров, а Двинского избрали единогласно губернским предводителем.

До открытия губерний Алексей Андреевич Двинский был воеводой в одном небольшом городке, потом, во время Пугачева, которого отдельные шайки возмущали народ и долго злодействовали в нашей губернии, он командовал небольшим отрядом улан. Чтоб это не сочли анахронизмом, я должен сказать, что так назывались в то время летучие конные отряды, составленные по большей части из дворовых людей. Так как в нашей стране вовсе не было тогда регулярного войска, то некоторые из богатых помещиков должны были прибегнуть к этому средству, чтоб приостановить хотя на время успехи пугачевской сволочи и держать в повиновении крестьян. Двинский оправдал вполне доверенность своих товарищей: он сделался в короткое время грозою мятежников, его строгая справедливость и удалство вошли в пословицу и одно имя наводило робость не только на бунтующих крестьян, но даже и на самых казаков шайки Пугачева. Не раз случалось, что появление его с несколькими уланами усмиряло целые селения. Я очень любил слушать, когда он рассказывал о своих партизанских подвигах; помню, однажды при мне, говоря, по своему обыкновению, протяжно и выговаривая все слова

<sup>9</sup> «Недоросль» – знаменитая комедия Д. И. Фонвизина (1782). «Бобыль» – комедия П. А. Плавильщикова (1790).

<sup>10</sup> «Дианино древо» – комическая опера «Дианино древо, или Торжествующая любовь» (текст Л. да Понте, перделка с итальянского языка И. А. Дмитриевского; музыка В. Мартина-и-Солера).

на о. Двинский рассказал один случай, который доказывает, как сильно действует на наш простой народ имя человека, известного своим удалством и справедливостью. «Это было так, под вечер, – говорил он. – Я стоял по ею сторону Суры, а на той высыпало из села сотни две бунтовщиков. Вот кричат из-за реки: «Алексей Андреич, покорись!» – «Не покорюсь вам, злодеи!» – «Эй, Алексей, сдайся! Худо будет!» – «Не сдамся вам, разбойники! Пойдите, пойдите – вот я вас!» Со мной было всего-навсего человек пять улан, – да что тут думать – смелым бог владеет! бух прямо в реку, вплавь. Лишь только я выбрался с моими уланами на берег, да паф из пистолета. Эге! Гляжу, мужички-то мои и оробели. «Кто против нашей матушки встает? Говори!» – зыкнул я во все горло – они всем миром и бряк на колени. «Виноваты, батюшка Алексей Андреевич! Глупость наша такая – помилуй!» – «Вот я вас помилую!.. Пойдите-ка, пойдите! Есть ли у вас большой сарай на господском дворе?» – «Есть, кормилец». – «Так сберитесь же туда все от мала до велика и держите себя под караулом – слышите?» – «Слышим, батюшка». – «Мне некогда с вами возиться, надобно еще у соседей ваших побывать. Завтра опять к вам буду» – «Слышим-ста, батюшка! Только помилуй!» – «А вот посмотрю, утро вечера мудренее. Кого надо повесить – повешу, кого помиловать – помилую. Ну, что ж, стали! Ступай, говорят, да у меня смотри – караулить себя хорошенько» – «Ста нем караулить, родимый!» – «Ну, то-то же! Ждите меня завтра чем свет». – «Будем-ста ждать, батюшка, только по милуй!»

– Я воротился к ним на другой день, – продолжал Алексей Андреевич: – Смотрю: у сарая стоит часовой с дубиной Я подъехал, караульный снял шапку, поклонился в пояс и сказал мне: «Здравствуй, батюшка Алексей Андреевич!» А там вдруг как крикнет: «Кто иде?» «Командир!» Вот он вытащил запор, отворил ворота, я вошел, и что ж вы думаете? Гляжу, вся вотчина поголовно сидит в сарае.

Алексей Андреевич Двинский был в свое время человек довольно ученый, то есть он любил читать, знал почти наизусть Роллена, Иосифа Флавия и Квинта Курция<sup>11</sup>, имел некоторые понятия о науке, так, как понимали ее у нас лет семьдесят тому назад. Надобно сказать правду, он употреблял иногда во зло свою ученость и подчас слишком щеголял ею. Имена знаменитых людей, а в особенности древних философов, поминутно были у него на языке. Разумеется, почти все дворяне нашей губернии преклоняли с благоговением свои главы пред его глубокой ученостью, выключая, однако ж, губернатора, который, несмотря на близкое свое родство с Алексеем Андреевичем, беспрестанно спорил и часто сбивал вовсе своими простодушными вопросами. Наш губернатор был человек неученый, всю жизнь служил в военной службе и, как говорится, был честен *по булату*. Конечно, и его иногда обманывал секретарь, но зато если он замечал где-нибудь упущения по службе или открывал нечаянно какое-нибудь злоупотребление, то подымал такой штурм, что не только присутствующие в нижних инстанциях, но и в высших местах месяца по два сряду дрожкой дрожали и ходили все по струнке. Доступ к нему был вовсе не тяжел, он принимал просьбы ото всех, говорил сам с последним мещанином, да только вот что было худо: если проситель изъяснялся не толковито или говорил слишком протяжно, то он отсылал его к секретарю или просто выталкивал вон из своего кабинета. Сестра его, Марья Степановна, жена Алексея Андреевича Двинского, слыла предоброю старушкою, не пропускала ни одной службы, помогала бедным, любила знать все, что делается в городе, и, сверх того, была большая мастерица раскладывать гранпасьянс и считать года всех невест, которые позасиделись в девках.

Алексей Андреевич Двинский встретил нас в гостиной, эта комната поразила меня своим роскошным убранством. Огромная хрустальная люстра, под зеркалами на подстольниках жирандоли<sup>12</sup>, убранные также граненым хрусталем, по стенам *масляные* картины в золоче-

<sup>11</sup> Роллен Шарль (1661—1741) – известный французский историк и педагог. Иосиф Флавий (37 – после 100) – древнееврейский историк, автор известных трудов «Иудейская война», «Иудейские древности». Квинт Курций Руф – древнеримский историк I в., написавший «Историю Александра Великого».

<sup>12</sup> Жирандоли – здесь: фигурные подсвечники для нескольких свечей.

ных рамах, наклейные столы, кресла и канапе<sup>13</sup>, обитые полосатым штофом<sup>14</sup>, – все это показалось мне чрезвычайно великолепным. Хозяин обнял с искреннею радостью моего опекуна и потрепал меня ласково по щеке, а супруга его расцеловалась с Авдотьей Михайловной и Машенькой. На канапе сидел какой-то гость с большим носом, в широком сюртуке с звездой. Он также встретил ласковым словом Ивана Степановича, который поклонился ему весьма почтительно и стал величать превосходительством, по всем этим приметам мне нетрудно было узнать в нем губернатора. Признаюсь, я очень оробел сначала, но как поосмотрелся и заметил, что он точно такой же человек, как и все другие, то стал посмелее, придвинулся поближе к хозяину, который о чем-то с ним спорил, и стал вслушиваться в их разговор.

– Да полно, братец, из пустого в порожнее переливать, – говорил губернатор, набивая свой огромный нос табаком. – Знал бы я наказ нашей матушки Екатерины Алексеевны, регламент Петра Первого, отчасти уложение царя Алексея Михайловича да правил бы губернею честно, добросовестно и со всяким опасением – так вот тебе и вся наука! На что мне ваши финты-фанты да всякие ученые премудрости! Я, брат, за них и гроша не дам.

– И не давай, любезный! – сказал с усмешкою Двинский. – Ведь наука не что другое, она не всякому впрок идет, и премудрый Сократ говорил однажды своему ученику Платону...<sup>15</sup>

– Уж как ты мне надоел с этим Сократом, – прервал губернатор. – Наладил одно: Сократ да Сократ! И что он был за человек такой?

– Афинский гражданин, любезный!

– Только-то? Гражданин – то есть, по-нашему, мещанин? Невелика птица! Посмотрели бы мы его премудрости, если б он был гражданским губернатором! Тут, брат, и не мещанин затылок у себя зачешет. Эка важность: «премудрый Сократ!..» Видали мы этих Сократов!

– Едва ли, любезный! Ты книг не читаешь, так вряд ли когда-нибудь с ним встретишься – хе, хе, хе!

– Да что в книгах-то проку? Вот ты третьего дня втер насильно мне в руки эту – как бишь, ее зовут?.. Прах ее возьми!..

– «Грациан – придворный человек»<sup>16</sup>.

– Да, да! Ну, уж книга! Черт знает что в ней напечатано! В толк не возьмешь!

– Хе, хе, хе! Что любезный, не про нас, видно, писано? А не худо бы тебе прочесть со вниманием регулу<sup>17</sup> шестьдесят первую о том, как мы должны преуспевать в изрядствах.

– Читай, брат, сам по субботам.

– Ну, а прочел ли ты мою книгу о семи мирах?

– Черт ее возьми! И какое мне до них дело?

– Какое? Эх, ваше превосходительство! Плох тот человек, говорит Марк Аврелий<sup>18</sup>, который не знает, по чему он ходит и что его покрывает.

– Да кто же этого не знает? Известное дело: мы все ходим по земле, а над нами небо.

– Да на небе-то что?

– Мало ли что: солнце, месяц, звезды.

– А звезды-то что такое?

– Как что такое?.. Ну, звезды, да и все тут.

<sup>13</sup> Канапе – небольшой диван с приподнятым изголовьем.

<sup>14</sup> Штоф – плотная ткань с крупным узором.

<sup>15</sup> Сократ (470/469-399 до н. э.) – древнегреческий философ, объявивший целью своего диалектического метода отыскания истины – самопознание. Платон (428/427 – 348/347 до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа.

<sup>16</sup> «Грациан – придворный человек» – это анонимное произведение испанской назидательной литературы было переведено и напечатано впервые в России в 1739 году.

<sup>17</sup> Регула – правило.

<sup>18</sup> Марк Аврелий (121—180) – римский император (с 161 г.), вошел в историю как монарх-философ, сторонник позднего стоицизма.

– Нет не все! Не знаешь, так я тебе скажу. Звезды небесные такие же миры, как и наш.  
– Смотри, пожалуй! Ах ты, мудрец, мудрец! Видишь, что выдумал! Полно, брат, рассказывай другим!

– Я тебе говорю.

– Да что ты, там был, что ль?

– Не был, да знаю.

– Миры! Хороши миры по маковому зернышку!

– Так нам отсюда кажется, а в самом деле они более нашей земли и, вероятно, служат жилищем для разумных тварей. Статься может, там есть такие же умные губернаторы, как ты, и такие же глупые коллежские советники, как я, – хе, хе, хе!

– Эку дичь порет! Да разве тебе не случилось видеть, что звезды-то с неба падают?

– Случалось, любезный!

– Так отчего же до сих пор ни одного губернатора или коллежского советника оттуда не свалилось и ни одна звезда никаких бед не наделала? Да если б они были не только с нашу землю, а вот хоть с наш губернский город, так уж, верно б, много народу передавили.

– То-то и есть, любезный! Ученье – свет, а неученье – тьма. Ты, сердечный, и этого не знаешь, что звезды, которые падают на землю, не те, которых мы видим на тверди небесной.

– Так что ж это за звезды такие?

Этот вопрос, и в наше время не вовсе еще решенный, казалось, очень затруднил Двинского. Он наморщил лоб, понюхал медленно табаку и сказал:

– Ты хочешь знать, что это за звезды такие?

– Ну да!

– Вот изволишь видеть, любезный! Эти падающие звезды не то, что звезды неподвижные.

– А какие же?

– Какие! Ну, разумеется, особые, отличные, то есть – пойми меня хорошенько – они, сиречь эти звезды, не то что звезды, а так сказать, подобие звезд.

– Да что ж они такое?

– Экий ты, братец, какой! Ведь я тебе толком говорю, те звезды сами по себе, а эти сами по себе. Звезда звезде не указ, любезный!

– Да не о том речь! Ты мне скажи, что это за звезды, которые падают?.. А?.. Что?.. Видно, ученость-то твоя в тупик стала?

– Да что с тобой говорить! – сказал с приметной досадой Двинский. – Ведь это для тебя халдейская грамота<sup>19</sup>, любезный! Недаром сказано: не рассыпайте бисера...

– Спасибо, друг сердечный! Вот к кому применил!

– Не погневайтесь! Так к слову пришлось.

Я не мог дослушать этот ученый диспут, потому что меня отвели во флигель, где я скинул дорожное платье и нарядился в свой коричневый фрак. Потом, часу в шестом после обеда, заложили опять нашу линейю, и мы все вместе отправились на сборное место целого города, то есть в лубочные ряды на ярмарку.

---

<sup>19</sup> Халдейская грамота – здесь: чернокнижие. Среди халдеев, создавших Нововавилонское царство (VII-VI вв. до н. э.), было много астрологов и магов.

### III. ЯРМАРКА

Верно, вам случалось не раз слушать с досадою, по-видимому, совершенно несправедливые жалобы стариков на все то, что мы называем *улучшением*; не смейтесь над ними, не осуждайте их! Неужели в самом деле вы думаете, что старик – если он не совсем еще выжил из ума – не понимает, что каменный, удобный и красивый дом лучше каких-нибудь деревянных неуклюжих хором, что хорошо вымощенная и опрятная площадь несравненно приличнее для всякого города, чем грязный луг, по которому и весной и осенью вовсе нет проезда, что ехать в почтовой спокойной карете по гладкому шоссе во сто раз приятнее, чем скакать в тряской кибитке по бревенчатой мостовой или изрытой колеями дороге, поверьте, он это все и видит, и чувствует, и понимает, – почему же он почти всегда предпочитает дурное старое хорошему новому? Почему? На это отвечать нетрудно – послушайте!

Один из моих столичных знакомых, который был с ребячества искренним приятелем и воспитывался вместе с деревенским моим соседом Волгиным, прошлого года приехал из Петербурга нарочно для того, чтоб с ним повидаться. Он заехал по дороге ко мне, на ту пору был у меня в гостях сын Волгина, молодец лет двадцати, писанный красавец. Я тотчас их познакомил, и, когда этот молодой человек объявил приезжему, что он месяц тому назад похоронил своего отца, мой столичный приятель залился слезами.

– Вот был человек! – говорил он, всхлипывая. – Перевелись такие люди! А молодец-то был какой!

– Полно, так ли, любезный? – сказал я, когда молодой Волгин вышел из комнаты. – Покойник был некрасив собою – вот сын его, так нечего сказать...

– Да, да! Конечно, сын хорош, а отец был еще лучше.

– Что ты, помилуй! У него все лицо было изрыто оспою.

– Да, это правда: мы с ним занемогли в одно время, меня бог помиловал, а его, бедняжку, больно злодейка изуродовала. Боже мой! Как мы с ним обрадовались, когда, продержав нас месяца два взаперти, выпустили в первый раз из комнаты. Уже то– то мы набегались досыта! С ног сбили нашего дядьку Прохора, а пуце Волгин – куда легок был на ногу!

– Неужели? Да ведь он всю жизнь свою хромал!

– Да, да, прихрамывал! Ему не было еще и шести лет, как он переломил себе ногу, мы лезли с ним через забор, он как-то сорвался, упал неловко, и с тех пор... Ах ты господи боже мой! Как вспомню: какие мы были проказники! Бывало, я на любое дерево взбегу как по лестнице, няня меня ищет, а я-то сижу себе на суку да кричу кукушкой. Преживой был ребенок!

– Мне помнится также, – продолжал я, – у покойника был нос на сторону?

– Правда, правда! Да ведь это к нему очень шло! Бывало, он станет нам корчить гримасы: рот на одну сторону, нос на другую, так мы все и помрем со смеху! Линский начнет его передразнивать, Мурашкин также... Бог мой!.. Все померли! А люди-то какие были – люди!

– Не спорю, любезный! Только как же твой друг Волгин, с рябым лицом, хромой ногой и кривым носом был лучше своего сына, первого молодца и красавца во всей нашей губернии?

Приятель мой задумался, покачал печально головою и, пожав мне крепко руку, сказал:

– Да, мой друг! Волгин, на мои глаза, был лучше всех нынешних красавцев, его лицо напоминало бы мне самые блаженные годы моей жизни. Ты – дело другое: ты не вырос с ним вместе, при встрече с ним не оживились бы в твоей памяти все детские радости, все счастье юношеских лет, когда свет нам кажется прекрасным, надежда верным, неизменным другом, а все люди братьями. Если бы я его увидел, то помолодел бы тридцатью годами, пустился бы бежать с тобою впуски! Вместо его я увидел сына, и меня опять пригнуло к земле, все прошедшее как будто бы не бывало, а без него худо нашему брату старику. Настоящее хоть брось,

а будущее... Ах, мой друг, мой друг! Ты еще не стар, а мне скоро восемьдесят стукнет. Нет! воля твоя, хорош сын, а отец был гораздо лучше!

Я думал почти то же самое, когда спустя лет тридцать попал нечаянно на эту годовую ярмарку нашего губернского города. С какую детскою радостью торопился я воскресить в душе своей все прежние впечатления, как встрепенулось мое сердце от удовольствия, когда лакей, притворив дверцы кареты, закричал: «Пошел на ярмарку!» Подъезжаю – и что же?... Боже мой! Какое превращение! Вместо лубочных балаганов и лавок, удрапированных рогожками, у которых была такая праздничная, веселая наружность, – пречопорный гостиный двор, раскрашенный, обитый тесом, и даже – о господи! ожидал ли я такого несчастья! – выстроенный по плану и с наблюдением всех правил изящной архитектуры! Куда девался этот упоительный запах сырых лубков и свежих циновок? Где эти дождевые лужи, около которых так осторожно и подбирая свои платица обходили наши городские барыни? На каждом шагу такие улучшения, везде такая чистота и опрятность, такое благочинье! Нет ни суматохи, ни тесноты, ну, словом, все так чинно, так прекрасно и так скучно, что я чуть– чуть не заплакал с горя! «Хорошо, – думал я, прохаживаясь по широким рядам.

Что и говорить – хорошо! Да эти щеголеватые ряды мне ничего не напоминают. Это уж не та ярмарка, на которой я так веселился, та сгилла и пропала вместе с моею молодостью! Та была просто годовою праздником, на котором в лубочных временных балаганах веселились без причуд, нараспашку, а теперь – боже мой! изящное здание с колоннами! Ну что тут будешь делать? Хочешь – не хочешь, а надевай вместо полевого кафтана фрак или модный сюртук! Нет, прежняя ярмарка была гораздо лучше!»

Попытаюсь описать ее.

Я уж сказал моим читателям, что мы, отобедав у Алексея Андреевича Двинского, отправились всей семьей на ярмарку. И теперь еще не могу вспомнить без восторга и радостного замирания сердца о том, как мы подъехали к рядам, как вышли из нашей линии, как глазам моим представилась эта бесконечная перспектива слабо освещенных лавок, которые, вместе с многолюдной толпой народа, терялись вдали в каком-то заманчивом сумраке. Когда мы вошли в одну из главных улиц этих ярмарочных биваков, голова моя закружилась и стало рябить в глазах. Я не знал, на что смотреть: тут лавочки наполнены серебряною посудой и образами в золоченых окладах, там тульский магазин с блестящими стальными изделиями, подле целые горы граненого хрусталя, вот люстра огромнее и лучше той, которая поразила меня в доме Алексея Андреевича Двинского. «Боже мой, боже мой! – шептал я, протирая глаза. – Нет! Такого богатства и роскоши я в жизни своей не видывал!.. Да это все стоит миллионов! Боже мой, боже мой!» Пройдя шагов сто, мы остановились подле одной угольной лавки с дамскими товарами. Авдотья Михайловна и Машенька стали торговать разные шелковые материи, Иван Степанович отправился покупать себе енотовую шубу, а я, оправясь немного от первого изумления, начал расхаживать взад и вперед по рядам, чтоб людей посмотреть и себя показать. На мне была пуховая круглая шляпа, которую с месяц тому назад брат моего опекуна, проезжая из Москвы в Саратов, подарил мне на память. Эта шляпа с высокой тульей и тремя ленточками, из которых каждая застегивалась особой серебряной пряжкой, была, по словам его, самой последней моды. Я обновил ее для ярмарки и, признаюсь, думал, что народ будет останавливаться и смотреть на эту щегольскую шляпу, что, может быть, многие станут говорить: «Посмотрите, какая шляпа! Сколько пряжек!.. Кто этот молодой человек в такой модной шляпе?» Вот я себе хожу да посматриваю: не взглянет ли кто-нибудь? Никто! Как я ни старался выказать свою шляпу: то надевал ее набекрень, то закидывал назад – все напрасно! никто не удостоил ее ни одним взглядом, и когда я встретил человек десять точно в таких же шляпах и даже одного, у которого вся тулья снизу доверху была опутана ленточками и унижена пряжками, то поневоле смирился и почувствовал всю ничтожность суеты и гордости мирской. Видя, что нет никакой пользы себя показывать, я решился смотреть на других. Прислонясь к одной

лавке, я стоял с полчаса, не меняя места, и глядел с удивлением на эту пеструю и многолюдную толпу гуляющих. «Откуда набралось столько народа? – думал я. – Господи боже мой! И это все господи!» Они встречались, здоровались, обнимались, хвастались своими покупками и рассказывали друг другу всякие новости. Несколько расфранченных молодых людей, в сюртуках с петлицами, в венгерках, в модных фраках с узенькими фалдочками и высокими лифами, увивались около дам, они такими молодцами подходили к барышням, так ловко потчевали их шепталою<sup>20</sup>, финиками и разными другими сладостями, отпускали такие замысловатые комплименты с примесью французских слов, что я не мог смотреть на них без зависти. Почти все молодые барыни и барышни сидели рядышком по прилавкам, к явному прискорбию купцов, которым не оставалось места, где бы они могли показывать покупателям свои товары. Я узнал впоследствии, что этот обычай приезжать в ряды для того только, чтоб сидеть по несколько часов сряду на прилавках, не всегда имеет своей целью одно препровождение времени, для иных зрелых девушек он служил – как бы это сказать повежливее? – он служил каким-то иносказательным возвещением, что и они, наравне с другими товарами, ожидают покупателей. Эта выставка невест в прежних лубочных рядах была очень выгодна для девиц, которые имеют причины показывать себя в полусвете. Я заметил также, что, чем дурнее была какая-нибудь барышня, тем более отыскивалось у нее приятельниц, которые старались наперерыв сидеть с нею рядом. Слабый свет и безобразная соседка удивительно как помогают очарованию туалета, при этих двух средствах оболыщения приятная наружность становится пленительною, а тридцатилетняя красавица превращается в ребенка.

Я забыл сказать, что мой опекун, отправляясь вместе с нами на ярмарку, отдал в полное мое распоряжение синенькую ассигнацию<sup>21</sup> и рубля два мелким серебром. Сначала, развлеченный новостью предметов, которые на каждое шагу возбуждали мое удивление и любопытство, я совершенно позабыл об этом важном обстоятельстве. Наглядевшись досыта на толпы гуляющих и лавки, наполненные дорогими товарами, я обратил наконец внимание на разбросанные посреди рядов небольшие лавочки, или шкапы с разными мелочными товарами. Я остановился подле одного из них: перочинные ножички различных форм, красные туалетцы с зеркалами, точеные игольники, рулетки, сафьяновые бумажники с прибором, готовальни, духи и сотни других безделушек обворожили меня своим разнообразием и приманчивой наружностью, я пожирал их глазами. «Боже мой! – прошептал я невольным образом. – Что, если б у меня было шереметьевское богатство! Я купил бы все эти вещи разом, разложил бы у себя на столе и любовался бы ими с утра до вечера. Э! Да что ж я, в самом деле? Ведь у меня есть деньги – куплю хоть что-нибудь!» Вот, собравшись с духом, я решился наконец спросить купца о цене некоторых из его товаров. Мы скоро поладили, и надобно видеть, как важно и с какою гордостью я вынул мою казну и отсчитал деньги, когда в первый раз в жизни, сам, лично своей особою сторговал и купил костяной волчок, роговой тупейный гребешок и банку московской жасминовой помады, – не правда ли, вас это удивляет? *Молодой человек*, которому минуло уже шестнадцать лет, покупает для своей забавы волчок! Да! Теперь это было бы очень удивительно, но лет сорок тому назад шестнадцатилетнего мальчика называли еще ребенком, а молодой восемнадцатилетний человек не считал себя ни законодателем вкуса, ни публицистом, ни глубоким *мыслителем*, не старался, без всякого призвания, разыгрывать роли русского Канта, Окена или Шлегеля<sup>22</sup> и ни в каком случае не стыдился быть молодым и уважать заслуги старых людей. Кто не знает наизусть нашего русского родного поэта, который сказал:

<sup>20</sup> Шептала – сушеные персики.

<sup>21</sup> ...синенькую ассигнацию... – речь идет об ассигнации достоинством в пять рублей.

<sup>22</sup> Кант Иммануил (1724—1804) – родоначальник немецкой классической философии, был избран почетным членом петербургской Академии наук. Окен Лоренц (наст. фам. Оккенфус) (1779—1851) – немецкий философ и естествоиспытатель, последователь Шеллинга. Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) – немецкий историк литературы, переводчик и поэт, ведущий теоретик романтизма.

Все идет чередой определенной  
Смешон и ветреный старик.  
Смешон и юноша степенный... —<sup>23</sup>

и кто не согласится со мною, что последний стих, к несчастью, вовсе не выражает дух нашего времени. Молодые люди – юноши девятнадцатого столетия! Поверьте старику, который, несмотря на то что принадлежит к прошедшему веку, не менее вашего ненавидит невежество и радуется успехам просвещения, – не торопитесь жить, оставайтесь подольше детьми! Зачем весною украшать ваше юное чело поблекшими цветами осени? Она придет, злодейка зима! Не бойтесь – придет! Засыплет вас своим холодным снегом, заморозит ваше воображение, убьет всю силу души и, прежде чем вы успеете оглянуться с горем на прошедшее, накроет вас навеки своим белым саваном.

Истратив на эту покупку не более половины моей казны, я решил на остальные деньги купить знаменитый роман Дюкредюмениля<sup>24</sup> «Яшенька и Жоржета», о котором слышал чудеса от одного из наших соседей. Книжная лавка была в двух шагах, но около нее толпилось так много покупателей, что я должен был минут десять дожидаться моей очереди. В то самое время, как я подошел к прилавку, передо мною раздался голос дядьки моего Бобылева.

– Хозяин! – проревел он своим густым басом. – Есть у тебя арифметика с числами? – Купец подал ему небольшую книжку. – Это не та! – сказал Бобылев, взглянув на заглавный лист. Книгопродавец подал ему другую. – И это не та! Ты дай мне настоящую!

– Да какую же тебе надобно арифметику? – спросил с нетерпением книгопродавец.

– Вестимо какую! Дай мне арифметику, которая начинается вот так: «Вначале бог сотворил небо и землю».

– Такой нет.

– Как нет! Я сам видел у нашего попа Егора, в красной обертке, первая страничка позамарана.

– Добро, добро! Пошел прочь от лавки! Не до тебя!

– Тише, тише, барин! Что ты? Говорят тебе, пошел прочь!

– Эй, любезный! – закричал громким голосом дюжий помещик в немецком однобортном кафтане и плисовых сапогах. – Есть у тебя Радклиф?<sup>25</sup>

– Есть, сударь! Какой роман прикажете?

– Какой? Ведь я тебе сказал, Радклиф.

– Да что, сударь? «Лес» или «Сенклерское Аббатство»?

– Лес? Какой лес? Нет, кажется, жена не так говорила.

– «Итальянец», «Грасвильское Аббатство».

– Нет, любезный, нет!.. Что-то не так.

– «Удольфские таинства»?

– Та-та-та! Их-то и надобно! Давай сюда!

– Есть у вас – «Дети Аббатства?» – пропищал тоненький голосок.

– Послушайте! – сказала молодая дама с томными голубыми глазами. – Пожалуйте мне «Мальчика у ручья» г<осподина> Коцебу<sup>26</sup> и «Бианку Капеллу» Мейснера<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Все идет чертой определенной... – строки из стихотворения А. С. Пушкина «К Каверину» (1817).

<sup>24</sup> Дюкредюмениль – французский писатель (1761—1819) – автор сентиментальных романов.

<sup>25</sup> Радклиф Анна (1764—1823) – английская писательница, автор популярных романов «ужасов».

<sup>26</sup> Коцебу Август Фридрих (1761—1819) – немецкий драматург и писатель сентиментального направления.

<sup>27</sup> Мейснер Август Готлиб (1753—1807) – немецкий писатель и драматург, автор нескольких исторических романов.

– Что последняя цена «Моим безделкам»?<sup>28</sup> – спросил, пришептывая, растрепанный франт, у которого виднелась только верхушка головы, а остальная часть лица утопала в толстом галстуке.

– Позвольте, позвольте! – прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупателей, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в плисовом полевом чекмене и кожаном картузе. – Здорово, приятель! – продолжал он, продравшись к прилавку. – Ну что? Как торг идет?

– Слава богу, сударь!

– А знаешь ли, братец? Ведь я хочу с тобой ругаться.

– За что-с?

– Что ты мне третьего дня продал за книги такие? «Житие Клевеланда»<sup>29</sup>, я думал и бог знает что, ан вышло дрянь, скука смертная: какие-то острова да пещеры, гиль<sup>30</sup>, да и только! Вот вчера, спасибо, друг потешил, продал книжку! Сегодня я читал ее вместе с женою – так и помирали со смеху, ну уж этот Совестдрал Большой Нос!<sup>31</sup> Ах, черт возьми – какие бодряги корчит! Продувной малый!

– Да-с, книга веселая-с!

– Дай-ка мне, братец! Говорят, также больно хороша «Странные приключения русского дворянина Дмитрия Мунгушкина»<sup>32</sup>.

Наконец пришел и мой черед.

– Пожалуйте мне роман Дюкредюмениля «Яшенька и Жоржета», – сказал я робким голосом книгопродавцу

Он снял с полки несколько книг и подал мне «Ай, ай! четыре тома! Уж верно, они стоят, по крайней мере, рублей восемь, а у меня не осталось и четырех рублей в кармане, я спросил о цене.

– Десять рублей!

– Можно их немножко просмотреть? – сказал я, заикаясь.

– Сколько вам угодно! – отвечал вежливый книгопродавец.

Я взял первый том, уселся на прилавке подле большой связки книг и начал читать. Через несколько минут пять или шесть барынь расположились на том же прилавке подле меня. Я мог слышать их разговор, но огромная кипа книг, которая нас разделяла, мешала им меня видеть, углубясь в чтение моей книги, я не обращал сначала никакого внимания на их болтовню, но под конец имена Авдотьи Михайловны и Машеньки так часто стали повторяться, что я нехотя начал прислушиваться к речам моих соседок.

– Да! – говорила одна из дам. – Эта Машенька Белозерская – девочка хорошенькая, неловка – это правда, но она еще дитя.

– Дитя! – подхватила другая барыня. – Помилуйте! Она с меня ростом! Я думаю, ей, по крайней мере, пятнадцать лет.

– Нет! Не более тринадцати.

<sup>28</sup> «Мои безделки» – название сборника Н. М. Карамзина, в который вошли его произведения, опубликованные в издаваемом им «Московском журнале».

<sup>29</sup> «Житие Клевеланда» – это сочинение Антуана Древо д'Экзиля (1697—1763) было опубликовано в России в девяти томах в 1760—1784 годах под названием «Аглинский философ, или Житие Клевеланда, побочного сына Кромвеллева, самим им писанное и с аглинского на французской, а с французского на российской язык переведенное».

<sup>30</sup> Гиль (разг. устар.) – вздор, чепуха.

<sup>31</sup> Совестдрал Большой Нос – герой считавшейся переведенной (с польского) лубочной повести «Похождения хитрого и забавного шута Совестдрала Большого Носа» (1781, 1793).

<sup>32</sup> «Странные приключения русского дворянина Дмитрия Мунгушкина» – произведение, типичное для бульварной литературы XVIII столетия.

– Так зачем же ее так одевают? Как смешна эта Авдотья Михайловна! Навешала на свою дочку золотых цепочек, распустила ей по плечам репантиры и таскается за ней сама в ситцевом платье, ну точно гувернантка! Да что она? Не ищет ли уж ей жениха?

– Как это можно! Ребенок! Да, кажется, им это и не нужно.

– А что?

– Так! Авдотья Михайловна смотрит смиренницей, а хитра, бог с нею.

– Да что такое?

– А вот извольте видеть: у них воспитывается сирота!..

– Уж не этот ли мальчик, лет шестнадцати, который ходил с ними сейчас по рядам?

– Да, тот самый.

– У него приятная наружность.

– И восемьсот душ.

– Вот что!

– Они живут безвыездно в деревне – соседей почти нет... Всегда одна да одна в глазах...

Теперь понемножку свыкнутся, а там как подрастут...

– Понимаю!.. Ай да Авдотья Михайловна!.. Восемьсот душ!.. Ни отца, ни матери!.. Да это такая партия, что я лучшей бы не желала и для моей Катеньки.

«Что эти барыни? – подумал я, – с ума, что ль, сошли? Да разве я могу жениться на Машеньке?»

– Постойте-ка, постойте? – заговорила барыня, которая не принимала еще участия в разговоре. – Что вы больно проворны! Тотчас и помолвили и обвенчали – погодите! Ведь этот сирота, кажется, близкий родственник Белозерским.

– Кто это вам сказал? – возразила одна из прежних дам. – Да знаете ли вы, как они родня? Дедушка этого сироты был внучатым братом отцу Ивана Степановича Белозерского.

– Вот что! Так они в самом дальнем родстве?

– Да! Немного подальше, чем ваша племянница, Марья Алексеевна, была до свадьбы с теперешним своим мужем Андреем Федоровичем Ижорским, а если не ошибаюсь, так для этой свадьбы вам не нужно было просить архиерейского разрешения.

– Смотри, пожалуй! Ну, Белозерские! Как ловко они умели все это смаскировать. Сиротка! Племянник, матушка! А у сиротки – то восемьсот душ, а племянник-то в двенадцатом колене! Умны, что и говорить – умны!

– Да ну их совсем! Какое нам до них дело?

– Какое дело? Помилуйте! Да это сущий разврат, мальчик взрослый, девочка также почти невеста, чужие меж собой – и допустить такое обращение!.. А все интерес! Посмотришь на них: точно родные брат и сестра. Я сама видела – целуются... фуй, какая гадость!

– И, матушка Анна Лукьяновна! Венец все прикроет!.. Да что мы здесь уселись? Пойдемте-ка лучше в галантерейный ряд, здесь бог знает что за народ ходит.

Соседки мои, продолжая меж собой разговаривать, пошли прочь от книжной лавки, и я остался один. Как теперь помню, какое странное впечатление произвело на меня это неожиданное открытие: первое ощущение вовсе не походило на радость, я испугался, сердце мое сжалось, слезы готовы были брызнуть из глаз. «Я не брат Машеньке, мы почти не родня! Боже мой!.. Но я могу на ней жениться, мы вечно будем вместе, она не выйдет замуж за какого-нибудь чужого человека – этот злодей не увезет ее за тридевять земель... не станет требовать, чтобы она любила его более меня... Нет! Тогда уж никто нас не разлучит!..» Все эти мысли закипели в голове моей, заволновали кровь в жилах, овладели душою, все понятия мои перемешались, прошедшее, настоящее, будущее – все слилось в какую-то неясную идею о неизъяснимом счастье, о возможности этого счастья, и в то же время страх, которого я описать не могу, это безотчетное чувство боязни при виде благополучия, которое превосходит все наши ожидания, которому и верить мы не смеем, обдало меня с ног до головы холодом. Я держал

книгу по–прежнему перед собою, перевертывал листы, глаза мои перебегали от одной строчки к другой, но я ничего не понимал, ничего не видел, все слова казались мне навыворот, и, чтоб найти смысл в самой обыкновенной фразе, я перечитывал ее по нескольку раз сряду.

– Ну что, сударь! – спросил меня купец. – Нравятся ли вам эти книжки?

– Очень, – ответил я, не смея поднять кверху глаза.

– Прикажете завернуть?

– Нет-с! Теперь не надо. Возьмите ее. Боже мой! Как жарко!

– Нет, кажется, здесь довольно прохладно!

– Не знаю, а мне что-то очень душно.

– Здравствуй, братец! – раздался подле меня пленительный голос Машеньки. – А мы уж тебя искали, искали!

Я спрыгнул с прилавка, Машенька взяла меня за руку и наклонилась, чтоб поцеловать в щеку. Я вспыхнул и отскочил назад.

– Что это такое? – вскричала с удивлением Машенька. – Что ты, братец?

– Ничего, Машенька, ничего!

– Да что ж это значит?

– Молчи, пожалуйста! – сказал я вполголоса. – Я все тебе расскажу.

– Что вы это? Уж не ссоритесь ли? – спросила Авдотья Михайловна, рассматривая полный месяцеслов, который лежал на прилавке.

– Не знаю, маменька, братец что-то...

– Замолчи, бога ради! – шепнул я, дернув за руку Машеньку.

– А! Вы все здесь? – сказал Иван Степанович, подойдя к нам с двумя помещиками, из которых один был близким нашим соседом. – Вы, барыни, ступайте домой в линею, а мы пойдем теперь на конную, ты, Саша, – продолжал он, обращаясь ко мне, – охотник до лошадей, пойдем вместе с нами.

– А как же вы домой? – спросила Авдотья Михайловна.

– Пешком, матушка!

– Такую даль!

– Ох вы барыни, барыни! Вам все страшно. Эка даль: версты полторы! Добро, добро! Ступайте с богом а мы уж дойдем как-нибудь. Да где ваши люди? Егор – здесь, а Филька где?

– Ушел куда-то.

– Ну так и есть! Верно, в кабаке.

– Нет, Иван Степанович! Он нынче не пьет, а так, зазевался где-нибудь, да мы доедем и с одним человеком.

– Хорошо, хорошо! Ступайте же!

Иван Степанович посадил в линею жену и дочь, а сам вместе со мною и двумя своими приятелями отправился пешком на конную. Мы ходили уже около часу по площади, пересмотрели лошадей пятьдесят, и мне под конец сделалось бы очень скучно, тем более что я горел нетерпением переговорить с Машенькой, если б меня не забавляли время от времени разные ярмарочные сцены, в которых особенно отличались цыгане. Надобно было видеть, с каким искусством эти природные барышники надували русских мужичков, несмотря на их сметливость и догадку. При мне один цыган продал крестьянину кривую лошадь, он так ловко повертывал ее здоровым глазом к мужику, так кстати подхлестывал кнутом и заставлял становиться на дыбы, когда покупатель заходил с слабой стороны, что ему не удалось ни разу взглянуть на дурной глаз. Другие цыгане стояли кругом и кричали во все горло: «Экий конь, экий конь! Эва, грудь-то какая! Вали смело сто пудов на телегу! А ноги-то, ноги! Вовсе бабок нет!.. Всем взяла!.. Богатый конь!.. Редкостная лошадь...» Мужичок вытащил из-за пазухи свою мошну, да, на его счастье, какой-то мещанин вклепался в эту лошадь, привел полицейского, и цыган вынужден был, в доказательство своей невинности, объявить, что у его клячи на

правом глазу бельмо, тогда как, по словам мещанина, украденная лошадь была со здоровыми глазами.

Иван Степанович, не найдя себе по нраву коня, сбирался уже домой, как вдруг подошел к нам Александр Андреевич Двинский.

– Здравствуйте, господа! – сказал он. – Пойдемте-ка, я вас потешу русской забавою. Вот тут на площади кулачный бой, стена на стену, здешние посадские – против фабричных и дворовых.

– Не люблю я этой забавы! – сказал мой опекун. – Ну что хорошего? Стравят людей, как собак, тот без глаз, у того рыло на сторону – за что?

– Экий ты, братец, какой! Да в том-то и есть наше русское удалство: сам без ребра, да зато и у другого зубов во рту не осталось. Нет! Люблю эту потеху, и у древних римлян были подобные забавы, да еще почище нашего: их гладиаторы бились не на живот, а на смерть.

– Да что в этом хорошего?

– А вот попробуй посмотри, так, может статься, у самого разыграется кровь молодецкая. Пойдем-ка, пойдем!

Мы вышли на простор, и перед нами открылась часть площади, на которой стояли одна против другой две густые толпы народа, в каждой было человек по пятидесяти, с открытыми головами и в больших кожаных рукавицах. Посреди этих двух противных сторон дюжины две мальчишек, как застрельщики перед колоннами, дрались врассыпную, таскали себя за волосы и тузили друг друга без всякого милосердия, многие из них были уже с разбитыми носами и ревели в неточный голос. Понемногу от каждой стены стали отделяться бойцы покрупнее, в разных местах завязались отдельные единоборства, мальчишки рассыпались врозь, и через несколько минут началась общая свалка.

– Ай да фабричные! – вскричал Двинский. – Ай да дворовые! Как они душат посадских! Смотри-ка, смотри! Кто это впереди?.. Так варом всех и варит!.. Ну, молодец!.. Эге! Как он их лущить начал!.. Экий чудо-богатырь! Смотри, смотри!.. Словно снопы, так и валятся!

– Что это? – сказал Иван Степанович. – Да это, никак, Филька.

В самом деле, этот отличный боец был тот самый слуга, которого отсутствие заметил мой опекун, отправляя Авдотью Михайловну домой.

– Ну, так и есть! – продолжал Иван Степанович, – Точно Филька! Эка бестия!.. Опять месяц проходит с подбитыми глазами! Вот я его, каналью!

– Что ты, любезный? – вскричал Алексей Андреевич Двинский. – Да этот Филька у тебя хват детина! Гляди, какой сокол – так и бьет с налету!.. Ну!!! Сломил, погнал посадских!.. Конец! Не долго же они держались, видно, калачника Бычурина с ними нет: тот постоял бы за себя.

Алексей Андреевич сел на свои беговые дрожки, а мы отправились пешком; завернули по дороге напиться чаю к одному старинному приятелю моего опекуна, и когда пришли наконец домой, то первый предмет, который кинулся нам в глаза в передней, был изорванный, избитый и растерзанный Филька. Он стоял, однако же, довольно бодро перед хозяином дома, который расспрашивал его о всех подробностях кулачного боя.

– Как ты смел, негодяй!.. – сказал мой опекун, бросив грозный взгляд на знаменитого бойца, у которого все лицо было на сторону.

– Полно, братец! – прервал Двинский. – Не тронь его! Ну! – продолжал он, обращаясь к Фильке. – Так ты с первого раза сбил с ног Антона-кузнеца?.. Молодец! Эй, дайте-ка ему чарку вина!

– Пошел, дурак! – закричал Иван Степанович. – Примочи чем-нибудь свою рожу! На что похож? Образа нет человеческого! Животное!

– Пойдем, пойдем! – сказал Двинский. – Я велю отпустить ему склянку живой воды: помочит денька два-три, так все затянёт.

– Что это, Филипп? Как тебя разбили? – сказал я, приостановясь на минуту и смотря с ужасом на изуродованное лицо Фильки.

– Эх, сударь, не удалось бы этим посадским заглянуть мне в харю, кабы сам не сплоховал.

– Да что ж ты сделал?

– Куражился больно, сударь! Как посадские побежали, так я вошел в такой азарт, что свету Божьего невзвидел. Наша стена давно-давным остановилась, а я вдогонку, один, ну-ка подбирать остальных, благо руки расходились – щелк да щелк! То того, то другого – любо, да и только! Глядь назад, ахти! Один как перст! Смотрю – все ко мне! Ну, беда! Вот я, не будучи глуп, и бряк оземь да и кричу: «Шабаш, ребята! Лежачего не бьют!» – «Да мы лежачего бить не станем!» – сказал какой-то мужчина аршин трех росту, которому я вдогонку шею-то путем наkostenял. – Эй, ребята, сюда!» Вот человек пять уцепились за меня, подняли молодца на ноги, приставили к забору, да ну-ка обрабатывать! Ах ты господи! Небо с овчинку показалось! Катали, катали! Насилу вырвался!

– Бедняжка! Как они тебе лицо-то избили.

– И, сударь, рожа ничего, заживет! А вот под бока-то они мне насовали, черти! Вздохнуть нельзя!

Я вошел в гостиную. Авдотья Михайловна играла с хозяйкою в пикет, Двинский схватился с моим опекуном в шахматы, а Машенька сидела, надувшись, поодаль от всех. Когда глаза ее встретились с моими, она отворотилась и взяла в руки книгу, которая лежала на окне.

## IV. ДОМАШНИЙ ТЕАТР ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА РУКАВИЦЫНА

Я думаю, ни о чем не было так много писано и говорено, как об этом чувстве, которое мы называем любовью, – а что такое любовь? Все прочие душевные свойства: дружба, милосердие, благодарность, сострадание, – имеют какой-то определительный смысл, но любовь? Любит ли мать своих детей, когда готова броситься за них в огонь и в воду? Любит ли жена мужа, когда, потеряв его, зачахнет с горя и сойдет вслед за ним в могилу? Любит ли брат сестру, когда идет стреляться в трех шагах с человеком, который осмелился оскорбить ее? Любили ли свое отечество Минин и Пожарский, готовясь с радостью положить за него свои головы? Любил ли свое создание, теперешнюю Россию, великий Петр, этот гигант и телом и душой, когда под Прутом, окруженный со всех сторон в несколько раз сильнеешим врагом, он написал сенату не признавать его царем и государем и не исполнять его собственноручных указов, если он попадет в плен к неприятелю? Всякий согласится, что все эти различные *виды* любви, доведенной до высочайшей степени, любовь к отечеству, любовь матери к детям, брата к сестре и, наконец, тревожная, пламенная страсть любовника к той, которую выбрало его сердце, выражаются всегда одним и тем же: беспредельным и безусловным самоотвержением и, несмотря на это сходство, не имеют ничего общего между собою. Лишать себя всех удовольствий для минутной прихоти другого, жертвовать для благополучия его благом собственной своей жизни и не видеть в этом никакой жертвы – одним словом, быть совершенно счастливым не своим, а его счастьем, – мне кажется, больше этого любить не можно? Я точно так любил Машеньку, называя ее сестрою, теперь, когда узнал, что мы почти чужие, что она может выйти за меня замуж, я не стал любить ее более прежнего – это было невозможно, но чувствовал, что люблю ее совсем иначе. За несколько часов я почти не замечал, что Машенька прекрасна, а теперь не мог смотреть на нее без восторга. Бывало, я обращался с нею так свободно, поверял ей все, что приходило мне в голову, или, лучше сказать, не говорил с нею, а мыслил вслух, теперь я вдруг стал застенчив и робел перед нею, ну, право, более, чем перед самим губернатором! Минут десять собирался я с духом и не мог решиться заговорить с нею, наконец подошел и спросил робким голосом, что она читает?

– Календарь, – отвечала Машенька, продолжая перебирать листы.

– Приятное занятие.

– Что ж делать, когда другого нет. Мы оба замолчали.

– Машенька! – шепнул я, взяв ее за руку, – Ты на меня сердисься?

– Конечно, сержусь. Зачем в рядах вы не хотели меня поцеловать?

*Вы!* Странное дело, до моей прогулки на ярмарку, это вы разогорчило и разобидело бы меня до смерти, а теперь – не знаю почему – это переменное словцо вы показалось мне даже приятным.

– Послушай, Машенька, – сказал я, – ты напрасно на меня сердисься, как можно нам целовать друг друга: мы уже не дети.

– Так что ж?

– Это неприлично.

– Неприлично!.. Да разве я тебе не сестра?

– Нет, Машенька.

– Ну, конечно, не родная, но, мне кажется, двоюродные сестры целуют своих братьев.

– Да кто тебе сказал, что мы двоюродные?

– Ах боже мой! Да какие же?

– Мы почти совсем не родня с тобою.

– Не родня! – повторила Машенька, и я чуть не вскричал от ужаса: в ее розовых щеках не осталось ни кровинки, губы посинели, а рука, которую я держал в моей руке, вдруг сделалась холодна как лед. – Не родня! – продолжала она еле слышным голосом. – Ах, братец, как ты испугал меня! Ну можно ли так глупо шутить.

– Успокойся, Машенька! – сказал я. – Да и чего ты испугалась? Ну да, конечно, мы не родня, я могу на тебе жениться, а ты можешь выйти за меня замуж.

Машенька вздрогнула, ее бледные щеки запылали, она вырвала из моей руки свою руку и почти в то же самое время, протянув ее опять, сказала с улыбкой:

– Теперь я вижу, братец, ты шутишь.

– Право, не шучу.

– Да полно, перестань.

– Клянусь тебе, это правда.

– Какой вздор, и как тебе пришло в голову...

– Не мне, Машенька, я об этом никогда не думал.

– Так с чего же ты взял?..

– А вот послушай!

Тут я пересказал ей слово в слово разговор, который так нечаянно подслушал на ярмарке. Машенька задумалась.

– Нет! – сказала она после минутного молчания. – Это быть не может, ты, верно, ошибся. Послушай, братец, хочешь ли, я спрошу об этом у маменьки?

– И ты думаешь, она скажет тебе правду?

– А почему же нет?

– Да если нам до сих пор никогда не говорили об этом, так, верно, и теперь не скажут. Может быть, на это есть причины, которых мы не знаем.

– Да, да, в самом деле!.. А кто были эти дамы?

– Я уже говорил тебе, что когда они сидели на прилавке, так мне за кучею книг нельзя было их видеть.

– Знаешь ли что? Мне кажется, они тебя заметили и хотели посмеяться над тобою.

– Да если я их не видел, так и они не могли меня видеть.

– Не приметил ли ты, по крайней мере, как они были одеты?

– Да!.. Я очень об этом думал!.. Однако ж, постой! Так точно!.. На одной из них был чепчик с розовыми лентами и голубыми цветами.

– Это Анна Саввична Лидина! – вскричала Машенька. – Я познакомилась и очень подружилась с ее дочерью... О! Феничка мне все скажет! Я попрошу ее, чтоб она спросила свою маменьку, правда ли, что мы не родня, и ты увидишь, братец... погоди, погоди!.. Ах, как легко тебя одурачить!

Машенька очень развеселилась, беспрестанно говорила мне:

– Так вы, сударь, хотите на мне жениться? – и умирала со смеху.

– Тьфу ты, благодарствуй! И вторую проиграл! – вскричал Двинский, оттолкнув с досадою шахматную доску. – Ну! Или ты, Иван Степанович, понаторел у себя в деревне, или я больно плохо стал играть. Однако ж не пора ли вам, барыни, одеваться? – продолжал он, взглянув на своего эликота<sup>33</sup>. – Без пяти минут семь! Авдотья Михайловна! Ведь вы, кажется, также со всем семейством приглашены сегодня в театр к Григорию Ивановичу Рукавицыну?

– Да, он просил нас – и в театр, и в вокзал! – отвечала Авдотья Михайловна.

– Так ступайте же, наряжайтесь! В семь часов к нему весь город съедется.

– Мы последние два короля доиграем завтра, – сказала хозяйка, вставая.

---

<sup>33</sup> ...взглянув на своего эликота... – эликот – старинные часы, называемые так по имени их создателя, английского часовщика XVIII века Джона Эликота (Элликота).

Через полчаса мы отправились к Григорию Ивановичу Рукавицыну. Его деревянный дом, один из лучших в Дворянской улице, занимал с своим садом, двором и всеми принадлежностями почти целый квартал. Когда мы вошли, то перед нами открылась бесконечная амфилада низких комнат, не убранных, а, лучше сказать, заваленных различной мебелью. Народу было множество, и мы едва могли добраться до хозяина, который в угольной, обитой китайскими обоями, комнате, принимал гостей. Мы только что успели с ним раскланяться, как он, подав с низким поклоном руку губернаторше, пригласил всех идти за собою в мезонин, в котором устроен был театр. Господи! Какая началась давка, а особливо по узкой лестнице, когда все гости бросились толпою вслед за хозяином. Губернаторшу и дам пустили вперед, но зато мужчины стеснились так в дверях театра, что у председателя уголовной палаты оборвали на фраке все пуговицы, а одного советника губернского правления совсем сбили с ног и до того растрепали, что он должен был уехать домой. Наконец кое-как все гости вошли в театр и разместились по лавочкам. Разумеется, я попал на самую заднюю. С одной стороны подле меня пыхтел толстый помещик в замасленном кафтане, с отвислым подбородком, раздутыми щеками и преогромной лысиною. Он беспрестанно протягивал чрез меня свою толстую лапу и нюхал табак у другого моего соседа, маленького человечка, тщедушного, с длинным острым носом и лицом, которое с профиля походило почти на равносторонний треугольник. Если вам случилось видеть ученых чижей или канареек, одетых по-человечески, то вы можете себе составить довольно верную идею об этом господине, который, к довершению сходства, прятал в толстый галстук свою бороду и, выставляя наружу один нос, не говорил, а пищал каким-то птичьим голосом.

Не имея никакого понятия о театре, я смотрел с большим любопытством на сцену и на опущенный занавес, на котором написано было что-то похожее на облака или горы, посреди них стоял, помнится, на одной ноге, но только не журавль, однако ж и не человек, а, вероятно, Аполлон<sup>34</sup>, потому что у него в руке была лира. Пока музыканты играли увертюру, между моими соседями завязался разговор.

– Осмелюсь спросить, – сказал с расстановкою плешивый толстяк, – какую комедию будут представлять сегодня?

– Оперу «Свадьба Волдырева»<sup>35</sup>, – отвечал почти с присвистом мой чирик-сосед.

– Так-с!.. Позвольте понюхать табачку... А после ничего уж не будет?

– Как же! Дуняша будет петь арию из оперы «Прекрасная Арсена»<sup>36</sup>.

– Так-с!.. Смею спросить: скоро начнут?

– А вот как перестанут играть музыканты.

– Так-с!.. «Свадьба Волдырева»... говорят, что это шутка очень забавная?

– Да!

Это «да!» сказано было немного в нос с таким важным голосом, что, несмотря на мою неопытность, я тотчас догадался, что сосед мой из ученых.

– Если хотите, – продолжал он, повертывая свою золотую табакерку между средним и большим пальцами левой руки, – это так – безделка! Впрочем, она написана изрядно, очень изрядно, автор ее – господин Лёвшин<sup>37</sup>, человек с талантом.

– Господин Лёвшин?.. Смею спросить: не тот ли это Лёвшин, который сочинил книгу о поваренном искусстве и выдал в печать полного винокура?

– Тот самый. Человек известный, с дарованием.

<sup>34</sup> Аполлон – у древних греков бог – целитель, покровитель искусства.

<sup>35</sup> «Свадьба Волдырева» – пьеса В. А. Лёвшина «Свадьба господина Волдырева».

<sup>36</sup> «Прекрасная Арсена» – четырехактная опера немецкого композитора из Саксонии Зейдельманна по либретто А. Мейснера (1779).

<sup>37</sup> Лёвшин Василий Алексеевич (1746—1826) – русский писатель, переводчик, экономист, известный своими волшебными-рыцарскими и сатирико-бытовыми сказками.

– Да-с! Умный человек, с большим рассуждением. Весьма занимательна его книга под названием: «Календарь поваренного огорода» – очень занимательна!.. Позвольте табачку!.. А смею спросить...

– Постойте – начинают.

Занавес поднялся. В продолжение всей оперы я не сводил глаз с актеров, а особливо с того, который представлял Волдырева. Я был очарован его игрою, – и подлинно, он, по выражению толстого моего соседа, отпускал такие отличные *коленцы*, что все зрители помирали со смеху. Когда в пятом явлении Волдырев, воображая, что госпожа Прельщалова в него влюблена, запел:

Пущу к ней ласки,  
Прищурю глазки  
И бровью поведу... —

то поднял правую бровь на целый вершок выше левой и начал ею пошевеливать с таким неописанным искусством и быстротою, что вся публика ахнула от удивления. Но все это не могло сравниться с той сценою, в которой Волдырев изъясняется в любви своей. Я не мог понять, да и теперь еще не понимаю, – как может человек искривить до такой степени лицо. Боже мой! Какой поднялся хохот, когда он, в пылу своей страсти, закричал как бешеный: «О, сладчайший сахар! Отложи стыдение, не лишай меня своего снисходительства! Я возгорелся, аки смоленая свеча, и вся утроба моя подвиглася!» При этих словах толстая утроба моего соседа, который давно уже крепился, вдруг заколебалась, он прыснул, поперхнулся и, вместо того чтобы засмеяться по-человечески, принялся визжать, как собачонка, которую секут розгами, и что ж вы думаете? Даже этот странный хохот не обратил на себя внимания публики – так все были увлечены прекрасной игрою Волдырева.

Впрочем, надобно сказать правду, сначала подгадил немного актер, представлявший роль Лоботряса. Он, как видно, хлебнул через край и не успел еще порядком выспаться. В первой сцене пьяница совсем забыл свою роль, начал кривляться, занес околесную и перепутал всех остальных актеров, потом, вместо того чтоб запеть свою арию, затянул что-то из другой оперы, разумеется, от этого вышла маленькая разноголосица: он пел одно, оркестр играл другое, и хотя многие из гостей этого не заметили, но хозяин тотчас догадался, что дело идет неладно, вскочил с своего места и побежал вон. Лишь только пьяненький артист сошел со сцены, раздавалось громкое рукоплескание, но только не в зале театра, а за кулисами, минуты две продолжалось непрерывное: хлоп, хлоп, хлоп! И когда Лоботряс явился опять на сцену, то, несмотря на то что щеки его были еще краснее прежнего, он стал, к удивлению всех зрителей, говорить как человек совершенно трезвый и запел отлично-хорошо. После этой небольшой *оказии* опера пошла как по маслу, с каждым явлением увеличивался общий восторг публики, и, когда в конце пьесы все актеры, обращаясь к Волдыреву, запели в один голос:

Увенчались желанья,  
Прекратились вздыханья,  
И недаром был здесь рев  
Обвенчался Волдырев,

во всем театре поднялся действительно рев: «Браво!.. Отлично, хорошо!.. Чудесно!» Я не смел кричать вместе с другими, но зато отбил себе ладони и под шумок стучал ногами изо всей мочи. Занавес опустился!

– Уф, батюшки, ох, смерть моя! – бормотал мой толстый сосед, придерживая руками свое чрево, которое все еще продолжало колыхаться. – Ну, комедия!.. Животики надорвал!..

А уж этот Волдырев – ах он проклятый!.. Как его коробило! Какие шутки выкидывал!.. Ну, актер! Славно играет!

– Да! – пропищал мой другой сосед. – Ванька Щелкунов был весьма хорош в роли Волдырева, с талантом, точно, с талантом!.. И мимик хороший!.. Заметили ли вы, какая у него игра в бровях?

– Да-с, да-с!.. Большая игра в бровях!.. Одолжите табаку!

– Прошу покорно!.. Да, сударь, малый с талантом, и декламировка весьма хорошая, – каждую запятую слышно.

– Так-с, так-с! Действительно отличные замашки!

– Да и Матреша в роли Прельщаловой себя не уронила – как вы думаете?

– Да-с, нечего сказать, поддержала себя.

– Играет с чувством.

– С большим чувством, и все ухватки самые деликатные!.. А что, осмелюсь спросить, вы изволите быть и в Петербурге и в Москве – что, как тамошние актеры против здешних?

Тщедушный мой сосед поправил галстук, то есть дотянул его почти до самого носа, и, повертев несколько времени между пальцев свою табакерку, сказал:

– Вы хотите знать?.. Да!.. Конечно, актеры столичные... кто и говорит! Однако ж если взять в рассуждение, то при знаться должно и, как станешь разбирать строго – так бог знает!.. Не то что я хотел сказать... О, нет! напротив, в столицах актеры отличные...

– Так-с!

– И если говорить правду, так я вам доложу, что, конечно, с одной стороны так! Да зато с другой – нет! Далеко!.. То есть не в рассуждении чего другого – а как бы вам сказать?.. Есть что-то такое... оно, если хотите, вздор, мелочь – а важно, очень важно!

– Так-с! так-с!

– Я не выдаю себя знатоком, но, по крайней мере, это мое мнение... Прикажите табачку.

– Благодарю покорно!

– А! Вот уж и занавес подымают!.. Послушаемте Дуняшу!..

Я слышал в мой век много европейских певиц, было время, что я с ангельским терпением высиживал целые итальянские оперы, кричал вместе с другими «браво!..» и не зевал даже во время речитативов, от которых да избавит господь бог всякого честного человека, но сколько я ни старался уверить себя и других, что мне очень весело, что я наслаждаюсь, – а дожил до старости, сохранив в душе моей непреодолимое отвращение ко всякой итальянской музыке. Вебер, Мейербер, Герольд, Обер<sup>38</sup> для меня понятны, они постигли этот неземной язык, этот язык звуков, который выражает и буйную страсть, и кроткое спокойствие души, и горе, и радость, и усладительное пение жителей небесных, и стоны падших ангелов: я слушаю их с восторгом, но лишь только услышу звуки итальянской музыки, лишь только эти оперные салтоморталы, эти бездушные подражания инструментам, эти бесконечные рулады раздадутся в ушах моих, со мной делается тоска, меня клонит сон, и я готов бежать на край света, чтоб только не слышать классического мяуканья музыкальных машин, которые, бог знает почему, называют себя актерами. Если господа дилетанты, сиречь записные любители итальянского пения, прогневаются на меня за такое неуважение к *искусству*, то я попрошу их излить всю желчь свою не на меня, а на Дуняшу, примадонну домашнего театра господина Рукавицына. Всем известно, что первые впечатления несравненно сильнее действуют на нас, чем последующие, а я в первый раз в жизни слышал итальянскую бравурную арию в доме Григория Ивано-

---

<sup>38</sup> Вебер Карл Мария фон (1786—1826) – знаменитый немецкий композитор и дирижер, основоположник немецкой романтической оперы («Вольный стрелок», «Оберон» и др.) Мейербер Джакомо (1791—1864) – композитор, друг Вебера, автор известных опер «Роберт-дьявол» и «Гугеноты». Герольд Фердинан (1790—1833) – французский композитор, автор романтических и комических опер. Обер Франсуа (1782—1871) – французский оперный композитор, крупнейший представитель французской комической оперы («Фра-Дьявол», «Бронзовый конь»).

вича и уверен, что эта ария была основной причиной моей вечной и непримиримой ненависти к итальянской музыке. Негодная девчонка так визжала, делала такие дурацкие трели, так глупо подлаживала под флейту – одним словом, так трудилась и работала, что мне сделалось тошно, и я, глядя на нее, измучился и устал до смерти. С тех пор эта окаянная певица преследует меня как призрак. Я помню, когда слушал в первый раз знаменитую Каталани<sup>39</sup> и начинал уже понемногу приходить в восторг, вдруг вместе с одной руладой – мерзкая Дуняшка оживилась в моем воображении, стала передо мною, как тень отца перед Гамлетом<sup>40</sup>, затащила свою браваурную арию, и все очарование мое исчезло.

Когда занавес опять опустился и гости стали выбираться из театра, мой тшедушный сосед, оборотясь к толстому, спросил:

– Ну что, сударь, каково?

– Кажется хорошо, хитро только больно!

– Хитро! Да ведь это не что другое: не «При долинушке стояла», не «Выйду я на реченьку» – ария, сударь, ария!

– Так-с, так-с! Одолжите табачку!

– А каково спела?

– Что и говорить – соловьиный голос!

– Не о голосе речь – метода, сударь, метода! Итальянская манера, черт возьми.

– Так-с, так-с!

Я вышел с остальными гостями из театра, спустился по крутой лестнице вниз и вслед за толпою очутился на дворе. Вдали, за решетчатым забором, мелькали огоньки, весь обширный сад Григория Ивановича Рукавицына был освещен. Прямая дорожка, обсаженная с обеих сторон подстриженными деревьями, вела к большой ярко освещенной беседке, за которой чернелась густая березовая роща. Сначала все гости рассыпались по саду, а потом, когда загремела большая музыка, собрались в беседку. Не видав никогда регулярных садов, я не мог довольно налюбоваться на эти зеленые стены из живых деревьев, на эти обделанные пирамидами елки и обстриженные липы, которые стояли как будто бы в шагах, – все это казалось мне прекрасным, но более всего мне нравились крытые аллеи, слабо освещенные разноцветными фонарями, – их таинственный сумрак, эта длинная перспектива зеленых и красных фонарей, которые походили на огромные изумруды и яхонты, эта свежесть и прохлада под зелеными сводами сросшихся деревьев, – все приводило меня в восторг. Обойдя весь сад, я вошел наконец в беседку. Тут ожидало меня новое и никогда не виданное мною зрелище: пышный бал во всем своем губернском блеске, во всей провинциальной роскоши, со всеми претензиями, чиновничатством, чванством, злословием и сплетнями, без которых в нашем губернском городе, не знаю теперь, а в старину и праздник был не в праздник, и бал не в бал. Когда я вошел в беседку, круглый польский уже кончился и начался длинный. В первой паре Рукавицын, по праву хозяйина, танцевал с губернаторшею, во второй губернатор с вице-губернаторшею, в третьей вице-губернатор с женою губернского предводителя, и так далее, сохраняя с величайшей точностью постепенность, основанную на табели о рангах. Заметьте также, что я не говорю – такой-то *вел* такую-то в длинно-польском, а употребляю слово: «танцевал», потому что хозяин, губернатор и почти все первые пары шли не просто, а выступали мерно, в такт и выделяли ногами особенное *па*, которое походило несколько на менуэтное. В задних парах молодые люди не придерживались этой старины и так же, как теперь, не танцевали, а шли обыкновенным шагом. Когда польский кончился, все почетные дамы, старушки и пожилые барыни уселись рядом

---

<sup>39</sup> Каталани Анджелика (1780—1849) – знаменитая итальянская певица, гастролировавшая и в России.

<sup>40</sup> ...как тень отца перед Гамлетом... – имеется в виду эпизод из пьесы Шекспира «Гамлет», когда призрак убитого короля приходит на встречу с сыном.

вдоль стены, хозяин захопал в ладоши, и музыканты грянули матрадур<sup>41</sup>. Так как мужчин было гораздо менее, чем дам, то многие из них, в том числе и Машенька с своей приятельницей Феничкой Лидиной, не участвовали в первом матрадуре. Не смея пускаться в танцы, я приютился подле двух пожилых дам, которые сидели поодаль от других, одна из них, закутанная в черную турецкую шаль, не спускала глаз с танцующих и только изредка обращалась к своей соседке, коротенькой, краснощекой и отменно живой барыне, в гродетуrowом платье с отливом<sup>42</sup> и лиловом дымковом чепце. Эта барыня была в непрерывном движении, вертелась во все стороны на своем стуле и болтала без умолку.

– Посмотрите, Елена Власьевна, – говорила она, указывая на одну девуцу, которая танцевала с драгунским офицером. – Опять с ним!.. Третьего дня на бале у губернатора он танцевал с ней два раза сряду... Срам, да и только! И чего смотрит дура мать?.. Вчера в рядах уж он с ней перебивал, перебивал! И все вполголоса шу-шу да шу-шу!.. А она-то, моя голубушка, кобянится, ломается!.. Ну, так и вешается к нему на шею! Помилуйте, что это? Я запретила моей Вареньке и близко к ней подходить... Батюшки!.. Антон Антонович танцует!.. Не прошло шести недель, как умерла его внучатная тетка, а он пускается в танцы! Хорош молодец!.. А еще человек естимованный! – Что это?.. Никак, Феничка Лидина осталась без кавалера? – Ну! видно, все узнали, что ее дядюшка, этот жидомор Сундуков, женился на своей крепостной девке и отдал ей все свое имя. Бывало, около этой Фенички проходу нет от кавалеров, а теперь... То-то же! Смекнули, что родового не много!.. Батюшки мои!.. Что это за фигура? В белом платье с розовой отделкой... не знаете ли, Елена Власьевна?.. Вот, что теперь танцует вместе с вашей дочерью?..

– Не знаю, матушка.

– Видно, приезжая... Отцы вы мои!.. Что за прыгунья такая?.. Да она какая-то шальная!.. Смотрите, смотрите, как подняла ногу!.. Ах, мой создатель!.. Ну, вот прошу возить дочерей по балам!.. Насмотрятся!.. Слава богу, что моей Вареньки здесь нет!

– В самом деле! Зачем вы не привезли ее с собою?

– Занемогла, матушка, простудилась на бале у губернатора, да как и не простудиться в этом проклятом доме? Везде сквозной ветер, ни одно окно не притворяется – хуже всякого хлева... А уж угощение-то было какое мизерное! Что за лимонад, что за оршат!.. «Батюшки, дайте квасу!..» И того нет!.. За ужином подали нам стерлядку четверти в две... да, да! Не больше, у меня глаз верен – не ошибусь! А там галантир<sup>43</sup> из баранины, хоть ничего в рот не бери!..

Злословие производило на меня всегда одинаковое действие с итальянской музыкою: со мною сделалась тоска, я ушел на другой конец залы, забился в угол и начал смотреть оттуда то на Машеньку, которая перешептывалась с своей приятельницей Феничкой Лидиной, то на ловких кавалеров, которые рисовались предо мною в блестящем матрадуре, из числа последних отличался один молодой человек, лет двадцати пяти, в вишневом фраке, у которого талия была почти под самым воротником. Он выворачивал так мудрено свои руки и выделял такие важные штуки ногами, что нельзя было смотреть на него без удивления. Мой тщедушный театральный сосед прыгал также изо всей мочи, и все остальные кавалеры – надобно сказать правду – танцевали весьма усердно и добросовестно, выключая одного франта лет тридцати. Это был приезжий из Москвы. Я заметил, что почти все танцующие смотрели на него с какою-то завистью и недоброжелательством, что, впрочем, было весьма и естественно: этот приезжий явным образом оскорблял их самолюбие: он имел вид рассеянный, едва отвечал на вопросы, танцевал как будто нехотя и с каким-то пренебрежением, а сверх того, был в очках и в таком модном

---

<sup>41</sup> Матрадур – старинный бальный танец.

<sup>42</sup> ...в гродетуrowом платье с отливом... – в платье из плотной шелковой ткани.

<sup>43</sup> Галантир – заливное в светлом студне.

фраке, что совершенно уничтожал всех наших губернских фашionaбелей<sup>44</sup>. Представьте себе: спинка его светло-синего фрака была вся цельная – в ней не было ни одного шва! И этот наглец как будто бы нарочно повертывался ко всем спиной. Вот как кончился матрадур, около вишневого фрака столпилось человек десять молодежи, он рассказывал им что-то с большим жаром и потом, заметив, что приезжий в очках вышел из беседки, побежал вслед за ним, я также отправился в сад подышать свежим воздухом и выждать, как Машенька пойдет гулять, чтоб спросить ее, узнала ли она от своей приятельницы Лидиной всю правду о нашем дальнем родстве. Судьбе не угодно было разрешить на этот вечер мое сомнение, совершенно неожиданный случай заставил нас уехать из вокзала гораздо прежде, чем мы думали, и сделал меня свидетелем одной из тех *бальных* историй, которые так часто начинаются и почти всегда так миролюбиво оканчиваются в наших благословенных провинциях.

Пройдя раза два по средней аллее, я присел на дерновую скамью, за большим кустом сирени, почти у самого входа в беседку. Не прошло пяти минут, как вдруг двое мужчин подошли к тому месту, где я сидел. Один из них был вишневый фрак, а другой – приезжий в очках, последний остановился и, обращаясь к вишневому фраку, сказал:

– Позвольте вас спросить, чего вы от меня хотите?.. Вот уж четверть часа как вы все ходите за мною.

Вишневый фрак поправил жабо, застегнулся на все пуговицы и отвечал толстым голосом, который, впрочем, казался вовсе ненатуральным:

– Милостивый государь!.. Государь мой!.. Я должен... мы должны...

– Ну, сударь!

– Нам должно объясниться.

– Объясниться? В чем?

– Вы меня обидели.

– Я вас обидел? Чем, если смею спросить?

– Вы танцевали матрадур.

– Да, танцевал – так что ж?

– И два раза сряду не вертелись с моей дамою.

– Неужели?

– Да, сударь, да! Два раза сряду!

– Если я это сделал, так уж, верно, нечаянно.

– Это, сударь, так не пройдет.

– Уверяю вас, я не имел никакого намерения, и прошу вас извинить меня перед вашей дамою.

– Извинить! Да что мне из вашего извинения шубу, что ль, шить?

– Помилуйте, зачем? Теперь жарко.

– Да вы еще, кажется, шутите?

– Смею ли я!

– Я, сударь, не позволю никому играть у себя на носу. Вы приехали из столицы, так думаете, что можете манкировать нашим дамам.

– Я уже вам сказал... впрочем, если вы считаете себя обиженным...

– Да, сударь! Я этого так не оставлю... я с вами разделаюсь!..

– Как вам угодно! Пожалуйте ко мне завтра, часу в седьмом поутру.

– К вам?.. Ни за что не поеду.

– Так скажите мне, где вы сами живете.

– Где я живу? Вот еще! Ни за что не скажу.

– Ах, батюшки! – вскричал приезжий. – Вот забавно! Так чего же вы от меня хотите?

---

<sup>44</sup> Фашionaбель – модник.

– Чего? Я вам покажу, сударь, чего!  
– Так показывайте скорее, мне, право, становится скучно.  
– Я еще поговорю с вами!  
– Очень хорошо, только прошу вас теперь оставить меня в покое.  
– Ни за что не оставлю.  
– Тьфу, черт возьми! Да что ж это значит?.. Послушайте, сударь, вы мне надоели!  
– Эка важность! Надоел!  
– Вы, сударь, глупы!  
– Что, что?..  
– Я по-русски тебе говорю: ты глуп!  
– Как! Ругаться?.. Да как смеешь? Ну-ка, попробуй еще!  
– Животное!  
– Ну-ка еще!  
– Дурак, с которым я и слов терять не хочу! – сказал приезжий, повернув в боковую аллею.

– Ага! – закричал ему вдогонку вишневым фрак. – То-то же!.. Видишь, прыткий какой! Надел очки да фрак с цельной спинкой, так и думает... Нет, брат, у нас не много выторгуешь!

Из беседки выбежал молодой человек, в белых лайковых перчатках и, как теперь помню, в атласной жилетке gris de lin amour sans fin<sup>45</sup> с розовой шалью и перламутровыми пуговками, он подошел к вишневому фракку и спросил вполголоса:

– Ну, что?  
– Да так, ничего! Отделал порядком!  
– В самом деле? Как же ты это?..  
– А так! Догнал его, остановил...  
– Ну!  
– Да вдруг, не с того слова: «Государь мой, вы меня обидели!»  
– Нет?..  
– Видит бог, так! Он извиняться: «Я, – говорит, – нечаянно». А я говорю: «Знать этого не хочу!» Вот он было и расхорохорился – да нет! шутишь! Не на того напал! Он слово, а я два!  
– Неужели?  
– Как бог свят!.. «Чего же вы хотите? Что вам угодно?» А я ему тотчас: «Не позволю у себя на носу играть!» – да и пошел, и пошел!  
– А он-то что?  
– Да что, зафинтил, заегозил, и туда и сюда, а я-то себе так и режу!  
– Ай да молодец!  
– Уж он вертелся, вертелся! Видит что дело-то плохо, да и давай бог ноги!  
– Подлец!.. Послушай! Ты сделал свое дело, а мы сделаем свое. Я уж со всеми переговорил: Пыхтеев, Бурсаков, Антон Антоныч, Алексей Фурсиков, Гриша – все согласились, когда этот московский фронт станет танцевать, не вертеться с его дамою.  
– Славно, братец, славно!  
– Мы поубавим его спеси!  
– Да, да! Прошколим его порядком!  
– Пойдем же скорее!.. Надобно подговорить Егора Семеновича – он на это молодец: первый начнет!

Эти господа пошли в беседку, и я также из любопытства отправился вслед за ними. В полминуты весть об этом бальном заговоре разлилась по всему обществу. Барыня в лиловом чепце так и бегала из одного конца залы в другой.

---

<sup>45</sup> серого льна под названием «любовь до гроба» (фр.).

– Слышали ли вы, матушка Марья Тихоновна, – сказала она пожилой даме, которая сидела у самых дверей беседки, – знаете ли, что затеяла наша молодежь?

– А что такое, мать моя?

– Сговорились осрамить этого приезжего московского кавалера и сделать ему публичный афронт.

– Что ты, мать моя?

– Да, Марья Тихоновна! Хотят совсем его оконфузить: как он станет танцевать, никто не будет вертеться с его да мою.

– Что ты говоришь? Ах, батюшки мои! Ну да если он подымет мою Сонюшку? За что ж ей такая обида?

– Не велите ей ходить с ним.

– Эх, мать моя, что ты? Долго ли до истории? Он же, проклятый, смотрит таким сорванцом... Ох, этот Григорий Иванович! Назовет бог знает кого!..

Тут подошло еще несколько маменек и тетушек:

– Изволили слышать?.. – Да, да, слышала!.. Скажите пожалуйста!.. И охота им! Да что он такое сделал?.. Два раза обошел в танцах Прасковью Минишну Костоломову... Ах боже мой! Какая дерзость... Уж эти приезжие!.. Вечно от них истории! Такие наглецы!..

– Не все, Мавра Степановна...

– Ну, хороши все, матушка!.. Хоть этот: я уронила платок – мимо прошел, а нет чтоб поднять – мужик!.. Ко мне чуть-чуть не сел на колени – грубиян!.. На всех смотрит в очки – невежа!.. Вот он!.. Вот он!.. Каков?.. Посмотрите, расхаживает, как ни в чем не бывало! Да, да, как будто бы не его дело!.. Какой наглец!.. Ништо ему!.. Пускай проучат!..

Авдотья Михайловна, которая ужасно боялась всяких историй, очень перетревожилась, когда до нее дошла весть об этом заговоре, она шепнула слова два Ивану Степановичу на ухо, и мы тотчас отправились потихоньку домой. Я думал, что успею в тот же вечер переговорить с Машенькою, не тут-то было! Нам объявили, что мы чем свет отправляемся назад в деревню, и приказали ложиться спать. На другой день, когда мы катились уже в нашей линии по большой дороге, как я ни заговаривал с Машенькой, но не мог никак добиться от нее толку: она дремала, притворялась спящею, а меж тем – я очень это заметил – беспрестанно поглядывала на меня украдкою. По возвращении нашем в деревню, Машенька как будто бы нарочно не отходила ни на минуту от Авдотьи Михайловны, и только к вечеру, когда мы, прогуливаясь вокруг нашей усадьбы, вышли на обширный луг перед рощею, мне удалось остаться с нею несколько времени наедине.

– Ну, что, сестрица, – сказал я, – теперь ты знаешь наверное?..

Машенька как будто бы не слышала, что я говорю с нею, и вместо ответа наклонилась и начала рвать полевые цветы, которыми весь луг был усеян.

– Ты говорила с Феничкой Лидиной? – продолжал я.

– Как же! – отвечала Машенька, не переменяя положения. – Я много с ней говорила, она премилая!

– Что? Она узнала от своей маменьки?..

– О чем?

– Разумеется, о том, родня ли мы или нет.

– Ах да!.. Что это за травка такая? Посмотри, посмотри, братец!

– Не знаю! Ну, что ж она тебе сказала?

– Кто?

– Феничка.

– Что сказала? Ничего!.. А это что за цветок? Кажется, иван-да-марья?.. Да, да!.. Какой миленький!.. Да какой же он душистый!..

– Что ты, сестрица! Он ничем не пахнет. Так Феничка тебе ничего не сказала?

– Ничего! Мы об этом и не говорили.

– Как? Ни одного слова?

– Ах, вот и маменька! – вскричала Машенька, увидев вдали Авдотью Михайловну.

– Сестрица! – сказал я, взяв ее за руку. – Это нехорошо, ты говоришь неправду.

Машенька вспыхнула и бросилась от меня бежать как сумасшедшая. Бедняжка! Она еще в первый раз в жизни решилась солгать, говоря со мною.

## V. ОТЪЕЗД

Прошло два года после этой поездки в город – два года самые счастливейшие в моей жизни: они пролетели, как два часа. Моя любовь к Машеньке давно уже не была тайною, мы были помолвлены. По просьбе Ивана Степановича губернатор записал меня на службу, то есть я считался в его канцелярии и успел уже получить первый офицерский чин. Когда мне минуло восемнадцать лет, мой опекун объявил решительно, что откладывает нашу свадьбу еще на три года и что я должен прослужить это время в Петербурге или в Москве, а не в нашем губернском городе, чтоб хотя несколько познакомиться со светом и сделаться человеком.

– Да, Сашенька! – сказал он мне, когда за несколько дней до моего отъезда зашла у нас об этом речь. – Да, мой друг! Ты еще совсем ребенок и долго им останешься, если все будешь жить у нас под крылышком. Эх, досадно! Зачем я послушался жены и сжалился над слезами этой девчонки... То ли бы дело!.. Хотел я записать тебя в военную службу, так нет! Подняли такой вой, что хоть святых вон понеси! Ну, делать нечего, а жаль, право, жаль! Военная служба лучшая школа для молодого человека, не правда ли, старый товарищ? – продолжал мой опекун, обращаясь к Бобылеву, который стоял, вытянувшись молодцом, у дверей гостиной.

– Не могу знать, ваше высокородие! – отвечал заслуженный воин с приметным замешательством.

– Я спрашиваю тебя, где лучше служить: в каком-нибудь приказе или в лихом драгунском полку?

– Не могу знать, ваше высокородие! Наше дело темное: где прикажут, там и служишь!

– Эге! – вскричал Иван Степанович. – Бобылев, да ты, никак, стал хитрить? Я спрашиваю: какая служба больше тебе по сердцу? Ну, чем бы ты хотел быть, подьячим или вахмистром? Ну, что переминаешься! Говори!

– Не могу знать, ваше высокородие!

– Тьфу ты, братец, какой! Я толком говорю, ну, послушай, в какой службе молодой парень делается скорее человеком: в статской или в военной?

– Где в статской, ваше высокородие! – промолвил, переминаясь, Бобылев. – Там выправка совсем не та, вот в нашей фронтной, не то что господин, а какой-нибудь зипунник, вахлак, и тот как раз молодцом будет... Оно, конечно, – продолжал Бобылев, поглядывая на Авдотью Михайловну и Машеньку, – подчас трудненько бывает, да и не наше дело толковать, где хуже, где лучше: про то знают старшие.

– Ну, видно, старшие-то тебя порядком напугала – прервал мой опекун, указывая с улыбкою на свою дочь и жену, – не смеешь про свою прежнюю службу доброго слова вымолвить, а вспомни-ка, Бобылев, старину! Помнишь, как мы с тобой под Абесферсом...

– Эх, не извольте говорить, ваше высокородие! Не мутите душу!

– То-то же! Да и то правда, что об этом толковать – дело кончено!.. Послезавтра, Сашенька, ты получишь подорожную из города, а там отслужим молебен, да и с богом! Ну, нахмурились!.. Опять плакать!.. Полно, жена! Машенька!.. Что, в самом деле?.. Ведь не навеки расстанетесь!

– Да уж позволь ему, Иван Степанович, – сказала Авдотья Михайловна, – хоть через год-то приехать в отпуск.

– Эх, полно, матушка! Уж я вам сказал, что этого не будет. Дайте ему хоть три годка-то сряду послужить порядком.

– Да ведь Москва не так далеко отсюда, – проговорил я робким голосом, – я в три недели успею побывать у вас и воротиться.

– Нет, мой друг Сашенька! – прервал Иван Степанович. – Это дело решенное: ты три года сряду не увидишься с твоей невестою. Я очень люблю тебя, не сомневаюсь в твоей при-

вязанности к моей дочери, но ты еще ребенок, ничего не видел, ничего не испытал, почему знать: быть может, любовь твоя к Машеньке одно ребячество.

– Как! – вскричал я. – Вы можете думать!..

– Не только могу, но должен, мой друг! Послушай. Если ты точно ее любишь, то три года не убавят ни на волос твоей любви, если же это одна детская привычка, то не лучше ли и для тебя и для нее, когда ты догадаешься об этом перед свадьбою, а не после свадьбы? В эти три года ты успеешь поверить собственные твои чувства, ты будешь встречать девиц и прекраснее и милее Машеньки...

– О, это невозможно!..

– Почему знать? В твои года я раза по четыре в год влюблялся, и всегда последняя красавица казалась мне лучше всех прежних.

– Но подумайте, Иван Степанович, три года!..

– Не три века, мой друг! Они как раз пройдут, а если, несмотря на то что Машенька во все это время ни разу с тобою не увидится, ты будешь чувствовать к ней все то же самое, что чувствуешь теперь... о, тогда я с радостью благословлю вас, тогда и я уверюсь, что вы созданы друг для друга. Только смотри, Сашенька! – продолжал Иван Степанович, пожав крепко мою руку. – Помни уговор: будь откровенен, не обманывай ни себя, ни нас, не торгуйся с своею совестью, не думай, что ты обязан наперекор своим чувствам из одного приличия или благодарности идти к венцу с моею дочерью. Боже тебя сохрани от этого! Ты можешь жениться на другой и остаться нашим сыном, а ее братом, но если ты обманешь нас, если благодарность, это святое чувство, ты унизишь до простой обязанности, если ты захочешь, как должник, которого тяготит долг, чем бы ни было, но только скорее расплатиться с нами, то знай, мой друг, что тогда-то ты будешь истинно неблагодарен и за наше добро заплатишь злом. Перед людьми ты будешь прав: они станут хвалить тебя, называть великодушным, благородным, но будешь ли ты прав перед богом, передо мною – вторым отцом твоим? Перед бедной женою моею и этим ребенком, которого ты называл своею сестрою? Подумай хорошенько! С той самой минуты, как ты скажешь в душе своей: я с ними поквитался – начнется вечное несчастье моей дочери, как честный человек, ты станешь твердить себе: я обязан сделать ее счастливой – мой долг быть хорошим мужем. Пустые слова, мой друг! Там, где все благополучие основано на взаимной любви, там не может быть ни долга, ни обязанности – с этими плохими помощниками недалеко уйдешь. Супружество не служба, в службе есть и долг и обязанности, но зато ведь есть и отставка. Нет, Сашенька! Еще раз повторяю: боже тебя сохрани от этого.

– Так, батюшка Иван Степанович, так! – сказала со вздохом Авдотья Михайловна. – Ты говоришь умно, да срок-то больно длинен, – шутка ли, три года!

– И, матушка! Он будет занят службой, а мы в первый год съездим в Киев помолиться богу, на второй отправимся в Казань погостить у брата, а на третий станем его дожидаться, так и не увидишь, как время пройдет.

Наступил день моего отъезда. Кибитка, заложенная тройкою почтовых, стояла у крыльца, лихие степные кони взрывали копытами землю, коренная вскидывала от нетерпения голову, и колокольчик побрякивал на расписной дуге. Все было готово. Мой слуга, Егор, уложив чемодан и несколько коробок со всякой всячиною, стоял подле кибитки в своей дорожной куртке, подвязанной широким патронташем, из-за которого выглядывали две пистолетные головки. Не пугайтесь! Лет сорок назад, так же как и теперь, по большим дорогам не грабили проезжающих: эти пистолеты были с нами только так – ради щегольства, и мой слуга не убил бы из них и цыпленка. Я очень помню, что у одного из них не спускался курок, а у другого не было собачки. Точно так же, как некогда при посещении губернатора, вся наша дворня высыпала из людских и дожидалась моего выхода. В гостинной отслужили молебен. Иван Степанович отдал мне пучок ассигнаций и несколько рекомендательных писем, Авдотья Михайловна, обливаясь слезами, благословила меня образом Божьей Матери, а Машенька повесила на шею небольшой

медальон, в котором с одной стороны вложен был светло-русый локон волос, а с другой – написано собственной ее рукой три слова: «Не забудь меня». Бедная Машенька, чтоб не расстроить еще более слабой и больной матери, старалась глотать свои слезы. Она беспрестанно выбегала вон из комнаты, но, несмотря на то что всякий раз притворяла дверь, я слышал ее рыдания, и сердце мое разрывалось на части. Вот, по старому обычаю, мы все присели, потом встали молча, помолились святым иконам и вышли на крыльцо. Иван Степанович взял меня за руку, отвел к стороне и сказал вполголоса:

– Прощай, Сашенька! Пиши к нам чаще; веди себя так, чтоб нам весело было о тебе слышать, и не забывай, что бесчестный человек, кто бы он ни был, не получит никогда руки моей дочери. Ты знаешь мой образ мыслей: по мне, тот, кто с намерением изменит своему честному слову, обыграет на верную приятеля, продаст себя за деньги, украдет платок из кармана, не бесчестнее того, кто погубит навсегда невинную девушку или разведет мужа с женою. Не все так думают, но это *мой* образ мыслей, а ты хочешь жениться на моей дочери. Помни это, мой друг! Ну, теперь прощай – с богом!

Он обнял меня, Авдотья Михайловна также, я поцеловал Машеньку, которая продолжала притворяться спокойной, и сел в кибитку.

– Что это, Сашенька! – вскричала Авдотья Михайловна. – Ты едешь в дорогу в белом галстуке? Скинь его! Я дам тебе сейчас цветную косынку.

Но прежде чем она успела послать за нею, Машенька сорвала с себя шелковый голубой платочек, подбежала ко мне и, обвязывая его около моей шеи, облила всю грудь мою слезами.

– Дальние проводы – лишние слезы! – сказал мой опекун. – Эй, голубчик, трогай лошадей – с богом!

Ямщик поправил шляпу, подобрал вожжи, свистнул, колокольчик залился, и мы тронулись с места шибкой рысью.

– Прощайте, батюшка Александр Михайлович! Прощайте! – кричала мне в дорогу вся дворовая челядь.

– Благополучного пути, ваше благородие! – заревел басом старик Бобылев. – Счастливой дороги!

– Прощай, брат Егор... прощай, Егорушка.

– Прощайте, братцы! – отвечал мой слуга, приподымая свой картуз. – Эй, тетка Федосья! Не забудь отвести теленка-то на село к старосте Парфену!.. Антон! Пожалуйста, братец, не покинь моего Барбоса!.. Прощайте, ребята!

Когда мы выехали на большую дорогу и поднялись в гору, ямщик остановился, чтоб выровнять построжки пристяжных лошадей, в ту самую минуту, как он садился опять на козлы, я привстал и оглянулся назад. Вдали против меня, по ту сторону пруда, чернелась дубрава, направо тянулся длинный порядок крестьянских изб, но господского дома со всей его усадьбою было уже не видно. Вдруг что-то белое показалось из-за горы, и тонкий прелестный стан обрисовался на облачном небе... Так это Машенька! Она стояла одна на большой дороге, сильный ветер разбрасывал по открытым плечам ее густые локоны, играл белым платьем и, казалось, хотел умчаться за мною. Она протянула ко мне руки. «Не забудь меня», – прошептал ветер, унося с собою последние слова моей невесты. Я закричал, хотел выпрыгнуть из повозки, но ямщик гаркнул, лошади понеслись, все исчезло в облаках пыли, и я упал почти без чувств в кибитку. Не стану вам описывать моей тоски, кто из нас не испытал ее, расставаясь с людьми, без которых жизнь нам кажется не жизнью? Мне жаль тебя, любезный читатель, если эти неизъяснимо грустные минуты встречались часто в твоей жизни, но я еще более пожалею тебя, когда, прожив весь век, ты не испытал ни разу этого горя. Грустно расставаться с тем, кого любишь, а, право, еще грустнее, когда некого любить.

В первые сутки моего путешествия тоска и грусть так меня одолели, что я не хотел смотреть на свет божий, не выходил на станциях и сердился на Егора, когда он просил меня выпить

чашку чаю или перекусить чего-нибудь. Закрывшись в моей кибитке и не видя новых предметов, которые меня окружали, я мог переноситься мыслью в прошедшее, Машенька была со мною, я слышал ее голос, говорил с нею и даже иногда, покрывая поцелуями голубой платочек, воображал, что прижимаю ее к груди моей. Проспав несколько часов сряду, я проснулся, на другой день гораздо спокойнее. Мысль, что я скоро буду в Москве, что увижу этот большой свет, о котором так много наслышался, этих знатных бар и сенаторов, перед которыми, говорят, и наш губернатор подчас стоит навтыяжку, – эта мысль начинала понемногу сливаться с моими воспоминаниями о прошедшем, а сверх того, я чувствовал, что не могу уже вполне предаваться моим мечтаниям: я очень проголодался, и тощий желудок убеждал меня, гораздо красноречивее Егора, перейти скорее из очаровательного мира мечтаний к жизни действительной, эта физическая потребность взяла наконец такой верх над моими моральными ощущениями, что я вышел на первой станции из кибитки и весьма обрадовался, когда смотритель поставил передо мною чашку сытных щей и горшок гречневой каши.

– Ну что? Далеко ли осталось до Москвы? – спросил я станционного смотрителя.

– Шестьсот двадцать верст, сударь.

– Возможно ли?.. Так мы в целые сутки и ста верст не отъехали?

– И то слава богу! – сказал Егор. – Ведь на двух станциях лошадей не было. Вы изволили дремать, сударь, так и не заметили, что мы часов по пяти дожидались.

– Для чего же ты не нанимал вольных?

– Вольных? Нет, сударь! Вольные-то кусаются! Тройные прогоны заплатишь!

– Так что ж?

– Помилуйте! Да этак мы переплатим я бог весть что.

– Делать нечего, не век же нам ехать до Москвы.

– И, сударь! – прервал Егор, – Доедем когда-нибудь, ведь этих ямщиков не удивишь. Что, в самом деле, поломаются часок– другой, а там дадут и почтовых.

– Вот вздор, стану я дожидаться!

– По мне, все равно, как прикажете, только, воля ваша, эти разбойники так дерут...

– Уж нечего сказать, точно, разбойники! – прервал почтальон. – Вот и теперь, посмотрите, что они с вас заломят.

– Да на что нам вольных? – закричал Егор. – Ведь ты сказал мне, что лошади через час придут?

– Нет, батюшка! И часика два потерпите! Кто их знает? Будут дожидаться на той станции попутчика, а там часа три, четыре надо лошадям дать выстояться.

– Так сыщи мне вольных, – прервал я, – дожидаться пять часов я не намерен.

– Слушаю, сударь! – отвечал смотритель, выходя вон.

– Эх, батюшка Александр Михайлович! – шепнул мне Егор. – Догадки в вас вовсе нет: уж я вам мигал, мигал! Сказали бы, что будете дожидаться, так и за двойные прогоны поедут, а теперь, посмотрите, слупят вчетверо!

Егор не ошибся: мы поехали на тройке, а с нас взяли за двенадцать лошадей.

Я давно не ездил на почтовых, говорят, что нынче станционные смотрители, с тех пор как пользуются офицерскими чинами, стали вести себя благороднее и не прижимают проезжающих, о большой Петербургской дороге и говорить нечего: там ходят теперь дилижансы, но в старину!.. Боже мой! Чего, бывало, не натерпится бедный проезжающий!.. Заметьте, однако ж: «бедный». Люди богатые или чиновные не знают этих мытарств и подчас не хотят даже верить, что они существуют на белом свете. Знатный человек мог в старину одним словом погубить станционного смотрителя, а богатый и прежде сыпал деньгами, и теперь бросает их для своей потехи, так для них всегда бывали лошади, но если у проезжающего в подорожной имелось:

«Такому-то коллежскому регистратору или губернскому секретарю давать из почтовых», – а меж тем в его кармане, сверх прогонных денег, было только несколько рублей на

харчи, то он мог заранее быть уверен, что из трех станций, уж верно, на одной все лошади будут в разгоне.

– Конечно, был способ и в старину бедному человеку добиваться почтовых лошадей, – сказал мне однажды приятель, теперь человек богатый, а некогда весьма недостаточный, – но чего это стоило! Сколько надобно хитрости и терпения, чтоб расшевелить самолюбие станционного смотрителя и заменить подленькой лестью благородную синюю ассигнацию богатого человека. «Что, батюшка, лошадей нет?» – «Нет!» – «Нельзя ли как-нибудь, почтеннейший! – А почтеннейший стоит в изорванном тулупе и с подбитым глазом. – Мне, право, крайняя нужда, пожалуйста, любезнейший! – А любезнейший едва шевелит языком с перепою. – Э! Приятель, да ты, никак, покуливаешь? Дай-ка, я набью тебе трубочку, у меня славный вакштаб, да уж сделай милость, друг сердечный, дай лошадок! Что обижать своего брата чиновника!» И вот иногда сердечный друг смягчится и за то, что я произвел его в чиновники, отпустит меня часом прежде. Поверишь ли, – продолжал мой приятель, – и теперь еще не могу хладнокровно об этом вспоминать – да, да!.. Бывало, в старые годы нечиновному и бедному человеку не приведи господи ездить на почтовых.

Я был человек нечиновный, но не жалел денег и потому на пятый день поутру переменял в последний раз лошадей в двадцати двух верстах от Москвы. Садясь в мою повозку, я с ужасом посмотрел на тройку чахлых, измученных кляч, на которых должен был ехать последнюю станцию.

– Что это за лошади? – сказал я. – Да мы на них и в сутки не доедем.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.